

ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕТЕКТИВ

mysterium



БУАЛО- НАРСЕЖАК

АЛАЯ КАРТА

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА КНИГИ БУАЛО-НАРСЕЖАКА
ИЗДАЮТСЯ ОГРОМНЫМИ ТИРАЖАМИ КАК В ЕВРОПЕ,
ТАК И В АМЕРИКЕ



ЭКСМО

На склоне лет бывший писатель мсье Эрбуаз принял решение провести остаток своих дней в роскошном пансионате для пожилых людей «Гибискус». Здесь собрались люди, стремящиеся обрести долгожданный покой, отдохнуть наконец от жизненных потрясений в уюте и замкнутом мире. Но мечте мсье Эрбуаза не суждено было исполниться... Когда загадочным образом погиб его сосед, все списали эту смерть на несчастный случай. Однако Эрбуаз заметил одну маленькую несостыковку, указывающую на то, что произошло убийство. И понял, что не обрести ему покоя, пока он не откроет правду и не отыщет преступника...

Роман также издавался под названием «На склоне лет».

Буало-Нарсежак

Алая карта

(Происшествие с мсье Эрбуазом)

Само собой разумеется, что все персонажи и события этого романа [\[1\]](#) являются чистой выдумкой.

Б.-Н.

Глава 1

Расстояние до решетки составляет 412 шагов. До скамейки в глубине парка — 4222 шага. До моей скамейки! Я всегда сижу там один. До остановки автобуса я иду шесть минут — целых шесть минут, по теневой стороне. Путь до вокзала занимает двадцать две минуты, иногда я покупаю там газеты, которых не читаю. Бывает, беру перронный билет, устраиваюсь в зале ожидания и просматриваю «Фигаро», «Орор» и «Нис-Матен». Я как будто жду поезда и все никак не могу дожждаться. Скорые прибывают один за другим. Из Парижа, Страсбурга, Брюсселя. Тяжелые ночные составы — тихие, безмолвные, с задернутыми шторками. В последний раз я ездил... да, думаю, в Лиссабон... хотя это мог быть и другой город.

Воспоминания, если их не лелеять, переплетаются и путаются, уподобляясь диким растениям, а я люблю свой английский сад «неокультуренных» воспоминаний. Это единственное место, где мне приятно находиться. Время от времени; чаще всего — после завтрака. Если человек, встав утром с постели, должен «убить» пятнадцать-шестнадцать часов — и не секундой меньше! — ему нужно научиться идеально планировать время и тщательно выстраивать свой день. В старости нет умения важнее, чем тянуть время. Получается не сразу, но в конце концов получается. Семьдесят лет я считал медлительность главным человеческим недостатком, а теперь лелею ее. Дождаться, когда подадут в постель кофе с молоком, поболтать с Франсуазой, пока та устанавливает поднос, неукоснительно соблюдая правило всегда говорить об одном и том же! Время тянется медленно и плавно, только если обтекает привычные склоны!.. Следом за Франсуазой появляется Клеманс. Мы перебрасываемся парой фраз, пока она готовит шприц и лекарство... Клеманс держит меня в курсе всех новостей нашего дома.

Девять утра. Пора совершать туалет. Не торопясь, с чувством и толком. На это, при определенном умении, уходит целый час. Потом требуется «убить время» до полудня. Прогуляться по парку. Поприветствовать садовника Фредерика.

— Как жизнь, мсье Эрбуаз?

— Так себе... Ишиас, черт бы его побрал.

— Понимаю... Кому же понимать, как не мне, с моей-то работой! Бывает, я к концу дня едва могу разогнуть спину.

Расставшись с Фредериком, я бреду дальше и встречаю Блеша. На нем синий спортивный костюм, он двигается вприпрыжку и страшно пыхтит. Блешу семьдесят четыре, и он краснеет от удовольствия, когда кто-нибудь делает ему комплимент: «Быть того не может, вы выглядите гораздо моложе!» У него в жизни осталась всего одна цель — казаться моложе всех нас. Старый болван. Бог с ним, с Блешем, мне нет до него дела! В конце обсаженной гвоздиками аллеи маячит Ламиро. Перед ним мольберт, он рисует... одну и ту же картину.

— Никак не удастся этот розовый, — сетует он.

Ламиро деликатно касается кистью палитры, не оставляя попыток добиться нужного цвета. Я ему слегка завидую: гоняясь за «неуловимым розовым», он незаметно переживает утро.

Теплый воздух под деревьями напоен ароматами лета. Будь мне сейчас двадцать, лег бы на газон и прогнал прочь все мысли. Легко ни о чем не думать, когда у тебя вся жизнь

впереди. А что делать тому, кто «едет с ярмарки»?

Одиннадцать. Консьерж раздает почту. Я ни от кого не жду писем. По правде говоря, никто ничего не ждет. О да, дети едят, но у них своя, отдельная от стариковской жизнь, а о жизни разве расскажешь? Письма больше похожи на уведомления. Мне это понятно. Когда-то я и сам в письмах к родителям ограничивался краткой информацией о делах и здоровье... Встретил такого-то... Отнес рукопись в «Новое французское обозрение»...^[2] Нашел новую комнату, лучше прежней... За короткими «бюллетенями» скрывался молодой человек, доверявший только себе. Таков закон жизни. Я ловлю обрывки фраз — не специально, чужие разговоры меня не интересуют: «Полина ждет малыша к зиме... Жак собирается на месяц в Лондон...» Люди довольствуются скухими новостями, и я их за это не осуждаю, но сам предпочитаю, чтобы мне никто не писал.

Еще один круг по парку в попытке «расходиться» ногу — проклятый ишиас терзает меня уже много недель. В этом доме все за всеми наблюдают, и я редко «ухожу от слезки», но, если такое все-таки случается, позволяю себе прихрамывать, ненадолго вступаю в сговор со Злом и сбрасываю маску человека, умеющего властвовать над болью. Может, мне становится легче, если я на каждом шагу морщусь от боли? Может, мне нравится чувствовать себя обычным стариком — во всяком случае, пока не дойду до конца аллеи? А потом постараюсь двигаться, опираясь на трость так изящно и легко, чтобы окружающие шептались, глядя мне вслед: «Хорошо держится этот Эрбуаз! Страдальцы так не выглядят!» Здесь у нас, как, впрочем, и повсюду, главенствует принцип «горе побежденным!».

Полчаса до полудня. Неспешное возвращение в дом. Все важно, все значимо! Летящая мимо оса, маленькая радуга, сверкающая в водной пыли над дождевальными установками... Каждая привлекающая внимание деталь помогает пережить оставшиеся четверть часа. Да что такое четверть часа? Вернее будет сказать, что можно было успеть за четверть часа в былые времена? Разве что выкурить сигарету. Увы, курить я бросил, так что единственное удовольствие, которое мне грозит на исходе последних пятнадцати минут, это обед.

Раз уж я решил, что не стану приукрашивать себя в этих заметках ни единым словом, придется признаться, что для меня теперь нет ничего важнее еды. Сколько деловых обедов я посетил в прежней жизни? Тысячи! Блюда там подавали изысканные, но я не был гурманом и вечно торопился поскорее перейти к кофе и сигарам, чтобы обсудить с партнерами спорные статьи очередного контракта. Сегодня мне следует избегать жирных продуктов, крахмалосодержащих продуктов и массы других — не помню каких! — продуктов. Список «вредной еды» лежит в бумажнике рядом с карточкой, на которой указана моя группа крови, но я с постыдной жадностью поглощаю все, что пока не запрещено. Боже, как это унижительно — быть озабоченным только собой, прислушиваться к себе, чтобы не дай бог не нарушить режим!

Итак, в полдень пансионеры группками тянутся в столовую, длинную и светлую, как на океанском лайнере. Маленькие столики, цветы, тихая музыка. Дамы всегда элегантны, но их белые лица грустных клоунесс производят чуточку устрашающее впечатление. Мужчины смирились с морщинами, лысиной и животиком, они предупредительны, радостно возбуждены, им не терпится заглянуть в меню. Ах, что это за меню, не меню — поэма! Оно напечатано на веленовой бумаге. «Гибискус» (выражение «дом престарелых» исключено из употребления; все знают, что «Гибискус» — роскошный отель для богатых стариков, и к черту подробности!). Далее следует перечисление «вкусностей», предлагаемых вниманию клиентов. Шеф-повару известны их пристрастия. Они обмениваются впечатлениями: «Это

запеченное в тесте блюдо просто восхитительно, сами увидите... Помню, однажды на борту „Нормандии“...» Любой повод хорош, чтобы вспомнить молодость.

Обед длится долго. У Жонкьера плохие зубы, Вильбер страдает язвой двенадцатиперстной кишки. Он так часто говорит о своей язве, что она превратилась в четвертого — невидимого — сотрапезника и заняла стул по правую руку от меня. Жонкьер пьет вино, попеременно бордо и бургундское. Как истинный дегустатор, он никогда не упускает случая расхвалить качество напитка, не обращая внимания на желчные протесты Вильбера.

— Прошу меня простить, старина! — извиняется Жонкьер. — Все время забываю, что вам нельзя пить... Ужасная досада!

Он разыгрывает эту репризу практически за каждой трапезой. Они ужасны — оба, но я еще упомяну их в моем повествовании, поскольку каждый призван сыграть свою роль в решении, которое я, возможно, приму. Пока же я хочу одного: описать без малейших прикрас — к чему прикрасы? — из чего, с позволения сказать, складывается мой день. Моя ироничность вызвана тем обстоятельством, что день этот бессодержателен, он являет собой абсолютную пустоту, своего рода стерильное, мертвое пространство, где я хожу по кругу, ступая по своим собственным вчерашним, позавчерашним — и так до бесконечности — следам...

Перед кофе наступает черед лекарств. Вильбер с видимым отвращением набирает препараты из коробочек, флаконов и тубиков, расставленных на столе наподобие костяшек домино.

— И как вам только удастся ничего не перепутать? — интересуется Жонкьер.

Вильбер не отвечает — он вынул из уха наушник слухового аппарата. Всякий раз, устав от нас, бедняга укрывается в раковине своей глухоты. Вильбер священнодействует, отключившись от мира. Он смешивает порошки, делит таблетки, растирает их, с безразличным выражением лица выпивает содержимое стакана, долго вытирает усы (при этом мы имеем сомнительное удовольствие лицезреть его похожие на кости зубы), потом аккуратно смахивает в ладонь крошки и отправляет их в рот. Наконец приносят кофе. Жонкьер встает.

— Увы, мне... никакого кофе — приходится помнить о давлении.

Все знают «цифры» давления Жонкьера, он похвально ими, пожалуй, даже больше, чем орденом Почетного легиона. Я пью кофе с ложечки, чтобы продлить удовольствие. На меня накатывает легкая благодатная сонливость. Вильбер набивает трубку и закуривает, рассеянно глядя перед собой. Его тоже наверняка одолевают мысли о том, как провести вторую половину дня. В июне день тянется бесконечно... Люди думают, что время однородно и один час всегда равен другому. Какое заблуждение! С двух до четырех время просто застывает: не для всех — дамы трещат без умолку и без устали, но для меня эти два часа просто мука мученическая.

Я удаляюсь к себе и ложусь, надеясь, что сон поможет преодолеть «ничейную землю», простирающуюся между обедом и ужином. Надежда так и остается надеждой. В «Гибискусе» живут старики, у каждого свои хвори и немощи. Я страдаю бессонницей. Для человека семидесяти пяти лет невозможность проспать дольше трех-четырёх часов — тяжкое испытание, а неспособность вздремнуть до ужина и вовсе невыносима. Кажется, вот он, сон. Чувствуешь его первые легкие объятия, а потом вдруг погружаешься в состояние холодного безразличия и бессильной злобы. Это отравляет жизнь. Остается одно — предаваться мыслям о прошлом.

Нужно расслабиться, нырнуть, как делают ловцы губок, — и вот они, воспоминания. Одни щетинятся иголками, как морской еж, другие обволакивают сладостным ароматом, как нежные цветы. Человек не властен над воспоминаниями. Иногда ко мне возвращается детство, и я вижу старые лица моих бабушек, играю с давно умершими товарищами, но длится это недолго: образ Арлетт вытесняет их из памяти (не образ — призрак, ведь я не знаю, что с ней случилось). Мне было шестьдесят, ей — сорок восемь. Эти цифры терзают меня днем и ночью. Я задыхаюсь, хотя кондиционер работает исправно, и встаю, не долежав даже до трех часов.

Вильбер вернулся к себе — я слышу его крысиное шарканье. Стены в нашем доме толстые, но мой слух обострен, как у любого истерзанного бессонницей человека. Скрипнуло кресло: должно быть, мой сосед решил почитать. Он получает кучу научных журналов, изучает их и даже подчеркивает отдельные места красным карандашом. Иногда этот ужасный человек даже берет «прессу» с собой в столовую и читает за едой! Интересно, как ему удалось получить лучшую в «Гибискусе» квартирку, окнами в сад и на восток? Я откровенно ему завидую! В его распоряжении имеются спальня, кабинет, туалетная комната. Мечта, да и только. Моя квартира не меньше, но окна смотрят на улицу и выходят на запад, так что приходится терпеть шум и мириться с нестерпимым солнечным светом. Я подал заявку — так, на всякий случай; все мы смертны, Вильбер в том числе. Если его не станет, директриса немедленно удовлетворит мой запрос, но, боюсь, ждать придется долго: несмотря на язву, Вильбер — крепкий старикан.

Четверть четвертого. Время слегка качнулось. Попробую применить технику ста шагов. От прикроватной тумбочки до книжного шкафа — 17 шагов. Вполне достаточно, чтобы придать объемность мечтам. Мечтать стоя совсем не то, что мечтать лежа. Из мешанины мыслеобразов рождаются доминанты. Я ясно осознаю, что имею все основания отказаться от нынешней абсурдной жизни. Единственный выход — покончить со всем чисто, точно и даже элегантно, на манер Монтерлана.^[3]

Я хожу от стены к стене. Исчезнуть! Что это значит? Ничего особенного, я просто опережу события — ненамного, на несколько лет. Покончить жизнь самоубийством в моем возрасте — значит выиграть время. Окружающие назовут этот поступок мужественным, скажут, что причина в моем чувстве собственного достоинства или гордыне. Чушь! Все дело в скуке. Я умираю от скуки, я измучен, истерзан, изъеден скукой, как старая, подточенная термитами балка. Пока не знаю, когда решусь, но ядом уже запасся. Именно наличие орудия самоубийства дает мне силы перетаскивать себя из одного дня в другой. У меня впервые появилось ощущение свободы. Я сам назначу день и час.

16.00. Самое трудное позади, как будто небо прояснилось и гроза ушла за горизонт. Возможно, у меня и впрямь неустойчивая психика, как утверждает мой психотерапевт. Я непоседлив и способен одновременно желать смерти и выселения Вильбера из вожденной квартиры. В противоречиях я чувствую себя вольготно, как рыбка в волнах. Привилегия возраста: принимать себя таким, какой я есть. Если мне взбредет в голову выпить чаю со сконами,^[4] к чему отказывать себе в маленьком удовольствии, пусть даже оно и вступает в противоречие с усталостью от жизни?

Теперь можно спуститься в бар, перекинуться с Жанной парой ничего не значащих слов, напомнить ей о лимоне, вдохнуть аромат лакомств — мадленок, птифуров, вафель... Все это прелюдия, предвкушение последующего действия — размеренного, со вкусом чаепития у открытого окна с видом на кипарисы и синее небо. Это мое обычное место. Здесь

у каждого есть свое «намоленное» место, и не дай бог кому-то занять чужое.

Время — пять после полудня. Я чем-то похож на солнечные часы: ощущаю, как удлиняются тени, как постепенно меняется свет, сгущая краски гибискусов и роз. Близится вечер, неся с собой покой и умиротворение. В этот час я люблю беседовать с человеком, которого здесь называют «отцом Домеником». Ему восемьдесят четыре года, у него борода как у Деда Мороза, он носит очки в металлической оправе и смотрит на мир кротким взглядом отшельника. Отец Доменик был журналистом и объездил весь мир. Он все видел, все читал и называет себя последователем Ганди. Не знаю, правда ли это, но от отца Доменика веет покоем. Я задаю ему вопросы о будущем, о карме. Он прекрасно осведомлен о жизни «за Пределом» — как посвященный и «спецпосланник». Отец Доменик описывает различные состояния Бытия с уважительной фамильярностью и объясняет множественные значения священного слога *аум*, рассеянно лаская пушистые головки китайских астр. Он безумен ровно настолько, насколько может быть безумен любой мудрец. Все обожают отца Доменика. Он вселяет в души покой. Не верит ни в дьявола, ни в ад и иногда соглашается побеседовать с дамами, озабоченными своим внутренним миром. Как сказала одна из них: «Вреда никакого, и время убить помогает!»

Вернусь, однако, к проблемам своей нынешней повседневности. Сейчас я пытаюсь уловить разнообразные нюансы жизни, которую мне осталось прожить, чтобы разобраться, насколько гнусен пресловутый «четвертый возраст»,^[5] о котором никто не осмеливается говорить вслух. Здесь его деликатно называют «третьим»,^[6] в этом есть некий порыв, отрицание старости и намек на тихие утехы. Вранье! Все лгут. Я докажу, что прав. Позже. Пора на ужин.

Социальные условности требуют соблюдения приличий, и обитатели «Гибискуса» переодеваются к ужину. До смокингов и вечерних платьев дело, конечно, не доходит, но драгоценности имеют место. На изуродованных артрозом пальцах сверкают дорогие кольца. Самые смелые дамы демонстрируют костлявую грудь в декольте. Мужчины надевают галстуки. Все обмениваются церемонными улыбками. Жонкьер, этот типичный старый сердцеед, надушился. Даже я сменил костюм. Куда ушли времена ночных пирушек, на которые меня сопровождала великолепная красавица Арлетт?

— Тюрбо по-королевски, — провозглашает Жонкьер. — Лучшее тюрбо в моей жизни я ел в...

Появляется Вильбер. Этому плевать на приличия. Он всегда ходит в одном и том же вышедшем из моды костюме, карманы которого набиты лекарствами: *сюрентил*, *диамикрон*, *пендиорил*, *спагулак*, *висмут*, *примперан*. Он встревожен.

— Куда, черт побери, я засунул мою дактилазу?

Вильбер вставляет в ухо и включает слуховой аппарат.

— Я, случайно, не оставил флакон на столе после обеда?

Он смотрит на Жонкьера, и в его взгляде ясно читается подозрение: человек, выпивающий за обедом и ужином по полбутылки «Сент-Эмильона»,^[7] способен на все. Жонкьер рассказывает, чем занимался до ужина. Оставил двести франков в казино. Рядом за столом сидела игривая дамочка... Вильбер пожимает плечами и выключает слуховой аппарат.

— Старый пуританин! — хмыкает Жонкьер.

— Не так громко, прошу вас, он может услышать.

— Не думаю. И вообще, мне плевать.

Таких, как Жонкьер, в романах с продолжением называли «похотливыми стариками». Он любит пикантные истории, ходит в кино на порнофильмы и всячески дает понять окружающим, что годы не властны над его мужской силой. Ну, вы понимаете?.. Вильбер ненавидит бахвальство Жонкьера. Иногда он выслушивает его рассказы до конца, то и дело приговаривая: «Неправда! Неправда!» — чем приводит Жонкьера в бешенство. Не верится, что Вильбер — выпускник Политехнической школы, что он был очень известным инженером и обогатился на своих патентах. Многие корабли оснащены подъемником «его имени». Он награжден орденом Почетного легиона и орденом Искусств и литературы. А теперь вот сидит за столом и с маниакальной тщательностью отпиливает горлышко ампулы.

Жонкьер, кстати, тоже был весьма влиятельной персоной. Закончив Центральную школу, он основал «Западные мукомольни», и его компания хорошо котировалась на бирже. Источник сведений — все та же Клеманс. Жонкьер намного богаче Вильбера и считает его рядовым наемным служащим, а Вильбер взирает на него с высоты своих дипломов и называет удачливым подрядчиком. Иногда они вступают в ожесточенную перепалку. Пока Вильбер откашливается в тарелку, Жонкьер поворачивается ко мне и спрашивает:

— Разве я не прав, Эрбуаз?

И тогда я уподобляюсь «слуге двух господ»^[8] и пытаюсь доказать, что если один прав, то и другой, возможно, тоже не ошибается. К счастью, подают десерт, и страсти успокаиваются.

Пора перейти в телевизионные гостиные. В большой смотрят второй канал, в другой, поменьше, — первый. Дамы предпочитают второй — из-за цвета. Некоторые готовы скомкать ужин, чтобы занять лучшие кресла напротив экрана, не слишком далеко, но и не слишком близко. Они громко комментируют новости, возмущаются, умиляются, хихикают, слушая выступления представителя «левых». Вильбер обожает американские сериалы про частного детектива Джо Манникса и жесткого и решительного полицейского Тео Коджака, но вечно приходит к телевизору последним, сидит в заднем ряду и ни черта не слышит, а потому быстро засыпает и начинает храпеть, вызывая глухое недовольство и протесты окружающих.

Я отдаю предпочтение первому каналу. Впрочем, предпочтение — это сильно сказано, ибо все зрелища оставляют меня равнодушным. Я не слежу за развитием сюжета: главное — до одури, как под влиянием гипноза, смотреть на экран. Черно-белое изображение подходит для этой цели лучше цветного. Часто я «пересаживаю» у телевизора всех зрителей. Мне предстоит прожить еще несколько невыносимо долгих часов, прежде чем можно будет лечь и попытаться уснуть. Ночной смотритель делает обход, и мы перекидываемся парой фраз. Бертран сообщает мне то, что не успела рассказать Клеманс. «Кажется, у старушки Камински — знаете, та, что похожа на фею Карабос, — так вот, у нее случился приступ аппендицита. Пришлось вызывать врача».

Помолчав, он добавляет:

— Чему тут удивляться, она жутко прожорлива!

Скоро полночь. Я стою на крыльце и несколько минут смотрю на звезды. Как же их много, просто голова кружится! Наш гуру отец Доменик называет их бесчисленными очами Господа. Звучит красиво... Жизнь могла бы показаться вполне сносной, если бы не треклятая бессонница!

Я поднимаюсь к себе. Постель расстелена. Анисовый отвар в маленьком кувшинчике еще не успел остыть. Я всегда выпиваю чашку отвара перед тем, как лечь. Когда-то давно

один мой друг сказал, что анис действует лучше любых снотворных. Это, конечно, полная чушь, но я тщательно соблюдаю ритуал: все средства хороши, чтобы приманить сон, в том числе магические. Отвар — одно из них.

Короткий моцион от одной стены спальни до другой и обратно тоже часть церемонии. Я не анализирую свои поступки, просто перебираю в памяти события дня. Пустого. Бесплезного. Как и все предыдущие. И, как во все предыдущие вечера, пытаюсь понять, что есть скука. Мне кажется, что смысл моей жизни мог бы измениться, пойми я природу скуки; ведь скука — это попытка убежать, увернуться, игра в прятки с самим собой.

Пока ты усердствуешь, чтобы уснуть, минуты тихонько ускользают — так, словно время медленно истекает кровью. Мы стареем незаметно, не сходя с места, не меняясь. Время живет, но я больше не проживаю его. Я распадаюсь на части в самой глубине своего существа. Действовать — значит приспособливаться к потоку времени, сливаться с ним. Старая, мы отпускаем руку времени. Отсюда и скука. Я чувствую себя старым, я старик. И никакие умствования тут ничем не помогут. Ложись спать, старый дуралей!

Начинается бесконечная переправа через ночь. Я слышу все звуки дома: поехал наверх лифт, остановился на четвертом этаже — наверное, вернулся со свидания Максим, шофер нашего грузовичка. Филиппи — он живет надо мной — кашляет, пытается отхаркаться, не может и вызывает Клеманс. Бедняжка Клеманс. Ее комната находится в дальнем конце коридора, рядом с медпунктом, но постояльцы часто будят медсестру среди ночи. Клеманс иногда позволяет себе пожаловаться: «Они просто невозможны! Вы только представьте, позавчера мадам Блюм подняла меня в два часа ночи, чтобы я измерила ей давление! Работать здесь медсестрой все равно что быть рабыней!»

Вскоре дом затихает, и до меня лишь изредка доносятся голоса находящегося по соседству города: вот завывла сирена «Скорой помощи», а ближе к рассвету послышался гул двигателей заходящего на посадку «Боинга». Я ныряю в беспомытность.

Внезапно раздается звонок будильника. Шесть утра. Живущий справа от меня Жонкьер — ему нет дела до покоя соседей! — встает, чтобы принять «печеночные» пилюли. И где только он купил свой сатанинский будильник, издающий череду яростных сигналов... Обещаю себе, что утром непременно сделаю ему внушение. В энный раз. Он извинится — в энный же раз, — и все повторится. Заснуть не получится. Я чувствую себя измотанным. Грядущий день не принесет ни радости, ни печали. Он будет пустым, никчемным. Так чего ради влачить бессмысленное существование?

Эгоистичный ли я человек? Этот вопрос часто приходил мне в голову, и я всегда давал на него однозначно отрицательный ответ. Я не жалею денег на благотворительность. И не я один — многие обитатели «Гибискуса» жертвуют средства, причем от чистого сердца. Мы старательно избегаем любого соприкосновения со страданием и бедами, и не важно, кому плохо — людям или «братьям нашим меньшим». Дело не в трусости. Просто интерес к другим влечет за собой потерю толики тепла, а все мы так чувствительны к холоду! Ничего не поделаешь, возраст. Не моя вина, что я больше не сияю от счастья.

Но я не глупец и не простофиля. Не притворяюсь беззаботным, не играю в веселость. Я прекрасно знаю, почему все они, все без исключения, делают вид, что «воспринимают жизнь с хорошей стороны». Хоровой кружок, лекции в университете, турниры по бриджу... все это сродни транквилизаторам. Горькая правда жизни — они всеми силами пытаются ее не замечать, но она терзает их — заключается в том, что в глубине души притаилось ожидание. Да, мы ждем. Конец близок! В часы одиночества мы слышим, как он

приближается. Ожидание заставляет нас торопиться. Нужно разговаривать — не важно с кем, все равно о чем. Баловать себя вкусной едой, играть в карты, ходить в казино, ибо гул окружающей жизни отвлекает и успокаивает. Страх — эгоизм стариков. Сколько раз я ловил себя на таких вот мыслях: «Я покупаю последнюю в этой жизни пару обуви!» или: «Это пальто наверняка переживет меня!» Подобные размышления ничуть меня не беспокоят, потому что я не боюсь смерти. Но остальных она ужасает, и они предпочитают заткнуть уши, учить русский, посещать выставки, выслушивать чужие признания и обедаться пирожными.

В восемь приходит Клеманс, чтобы сделать мне укол.

— Давайте поворачивайтесь, да поживее!

Со всеми своими пациентами Клеманс обращается с грубоватой нежностью. Она толстая, краснолицая, резкая, выговор у нее слегка просторечный, как у крестьянки. Эта женщина без возраста больше чем медсестра, она — устный журнал.

— У мадам Камински никакой не аппендицит. Так сказали, чтобы не пугать бедняжку, но все куда хуже.

Она понижает голос.

— Вы меня понимаете?

Главное — не называть вслух имя «зверя», жуткой опасности, которую никогда не удастся обнаружить вовремя, сколько бы процедур и обследований человек ни проходил.

— Родственников уже предупредили, — продолжает Клеманс. — Старушку увезли в клинику, но она неоперабельна.

— Сколько ей лет? — Я не смог удержаться от вопроса.

Никто не способен промолчать, когда человек, пусть даже незнакомый, оказывается в смертельной опасности. Услышав ответ, впадаешь в задумчивость, делаешь выводы, сравниваешь.

— Будет девяносто шесть, — сообщает Клеманс. — Согласитесь, в таком возрасте пора подумать об... уходе. Ее квартира уже обещана другим постояльцам.

— Воистину от вас ничего невозможно утаить.

— Да ладно вам, не такая уж я и вездесущая!

Клеманс издает смешок, более уместный в устах юной девушки, а не крепко сбитой тетки.

— Мадемуазель де Сен-Мемен попросила подменить ее на несколько минут, и я заметила письмо на столе.

— Так вы еще и письма чужие читаете? Ну и дела!

— Как вам не совестно, мсье Эрбуаз! Я только взглянула. Речь идет о супружеской паре. Что может быть хуже? Мне работы точно прибавится!

Она уходит. Круг замкнулся. Еще один день прибавился к прожитым, нет, вернее будет сказать — стало одним днем меньше до конца. Что, кроме болезни, способно нас взволновать? Крупные мировые события происходят вдалеке от этого дома. Ужасные трагедии, катастрофы, преступления... Известия о них долетают до нас глухим эхом. Даже если начнется война, опасаться стоит только физических лишений. Отныне нам запрещено вибрировать в унисон с остальным человечеством, разделять страхи других людей. Мы утратили право на эмоции. Мы все комментируем, обо всем болтаем. Мы — мастера разговорного жанра в чужих драмах. По всему выходит, что я прав, когда говорю, что сыт по горло?

Дело за малым — набраться мужества для последнего, решающего шага!

Я перечел написанное и нашел текст неуклюжим и туманным. Я утратил навык, но был прав, решив во что бы то ни стало запечатлеть свой бунт в словах. Если бы меня попросили дать определение маразма, я назвал бы слабоумным человека, поддающегося на обман и верящего в сладенькую сказочку о счастливой старости, которой кормят нас газеты и журналы. Смотреть на жизнь трезво — вот истинное утешение. Есть еще одно обстоятельство. Мне не так уж и страшны кажущиеся бесконечно долгими часы между ужином и сном, ведь я назначил себе свидание за письменным столом. Вместо того чтобы по-стариковски прокручивать в голове прошлые неудачи и сожаления, я, как в былые времена, зажигаю лампу и начинаю охоту на слова. Стрелок из меня теперь никудышный, но я готов довольствоваться мелкой дичью. Где мои двадцать лет, куда улетучились непомерные надежды? Два моих романа имели успех. Вот они, стоят на полке книжного шкафа как свидетели обвинения. Иногда я их перечитываю. И наивно говорю себе: «У меня тогда был талант. Как я мог отречься от него — пусть даже ради интересной профессии? Да, она позволила мне нажать состояние, но она же и стерилизовала!» Ничего, думал я, у меня будет время, когда выйду на пенсию, а пока постараюсь набраться опыта — в делах, да и с женщинами, какое же творчество без опыта?

Я верил, что с возрастом человек становится более зрелым. Теперь я знаю, что воображение склерозится, как и артерии. Даже эти сумбурные записи непросто ложатся на бумагу. Они сочатся и застывают на манер сталактитов. Я сравнивал свои литературные потуги с охотой. Вы скажете: бедняга обманывает себя. Пусть так, но мои мысленные усилия дают возможность не думать о времени. Я не смотрю на часы, когда лелею свою скуку, и так незаметно доживаю до полуночи. Начинаю раздеваться, не переставая размышлять, подбираю слова, складываю фразы, осторожно, чтобы не спугнуть, вытаскиваю из подсознания образы. Все это ни к чему. Слишком поздно. Но я засыпаю, чувствуя себя не совсем уж бесполезным существом. Я обязуюсь продолжать мои хроники, ничего не упуская и не опуская ради единственного удовольствия дать волю перу, как гончому псу. Кому это может помешать? Написанное читаю только я сам, и невыносимая правда терзает меня одного. Наверное, единственный способ прогнать пустоту быстротекущих дней — это описывать ее, до тошноты, до омерзения. Во всяком случае, попробовать стоит.

Франсуаза принесла мне поднос с завтраком и прямо с порога сообщила новость:

— Мамаша Камински умерла.

Умерла на операционном столе! На свете нет смерти пристойней. Все происходит вдалеке от дома. Никто не суется с соболезнованиями. Такая смерть словно бы происходит в таинственном лимбе, откуда усопших забирают в роскошном катафалке, везут на кладбище и опускают в могилу, которую родственники украшают букетами и венками. Кое-кто предпочитает кремацию, но таких немного — вид огня, принимающего в свои объятия гроб, навевает мысли об адском пламени. Лучше уж лежать под землей со скрещенными на груди руками и тихо ждать воскрешения.

Самое время поговорить о религии — не о религии вообще, а о той, что исповедуют в «Гибискусе». Здесь все — верующие и атеисты — ходят к мессе; во-первых, это «бонтонно», а кроме того, в наших богослужениях есть что-то такое, с позволения сказать, клубное. У нас частная часовня, где не бывает чужих. Службу отправляет убеленный сединами священник — мягкий, внушающий пастве доверие, а главное, очень терпимый. Он знает, что грех рано

или поздно тоже «уходит в отставку» и его прихожане исповедуются в воображаемых прегрешениях. Наш святой отец — воплощение радушия и прощения, приправленных некоторой долей консерватизма, что, впрочем, всем нравится.

Генерал Мург исполняет роль служки. У него плохо гнется нога, но он весьма изящно поднимается по ступеням алтаря и совершенно неподражаемо звонит в колокольчик, мягко, но настойчиво призывая нас отрешиться от всего мирского. Я часто замечал, что лучше всего прислуживают в церкви именно отставные военные. Нет-нет, я не шучу. Конечно, человеку, искушаемому грехом самоубийства, невместно рассуждать о вере, но ведь я не отчаявшийся и не люблю атеистов — на мой вкус, они слишком категоричны. Не нравятся мне и христиане, слишком фамильярно рассуждающие о Христе. Я занимаю выжидательную позицию. Бог? Возможно. Существует Он или нет, есть Ему до меня дело или нет, значения не имеет: проблема в том, что у меня больше нет сил выносить себя. Я констатирую этот факт без гнева и пристрастия. Так уж случилось, что я отдалился от себя и от остального мира, и, если уйду — незаметно, на цыпочках, — это никого не оскорбит и не станет богохульством.

— Не стоит быть таким пессимистом, — говорит Клеманс, когда я даю понять, что устал от жизни.

Она ошибается, пессимизм тут ни при чем, и я не мизантроп. Я стараюсь быть любезным и обходительным с окружающими. Но никто не может помешать мне смотреть на них — и на себя самого — взглядом энтомолога. Это началось давно. Если быть точным, вскоре после ухода Арлетт, когда я впал в депрессию. Не хочу вспоминать о том ужасном периоде моей жизни. Я был на грани безумия, но справился и стал другим человеком. Лазарем^[9] скуки! Я все бросил: оставил пост генерального директора компании, квартиру на авеню Марешаль-Лиотей, друзей, «Бентли» — всё. Я даже не попытался узнать, где скрывается Арлетт. Не уверен, что она пряталась от меня, это совершенно не в ее характере. Эта женщина скорее уж появлялась бы на людях с мужчиной, которого предпочла мне.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Возможно, больше. Нет смысла уточнять. Любопытно, что Хосе никогда ничего не говорил мне об Арлетт. Мой внук вообще редко подает о себе известия. Но должен же он знать, где находится его бабка! В первое время я думал, что найду успокоение или хотя бы научусь безропотно сносить свою участь в удобном и уютном доме престарелых. Первым было заведение в Блуа, безупречное во всех отношениях, но через год оно стало наводить на меня тоску. Потом я поселился в «Незабудке», недалеко от Бордо. (Вот ведь как забавно, все «богадельни», где я жил, назывались именами цветов!) «Незабудка» оказалась слишком шумной, что свидетельствует об одном: окончательно я от депрессии так и не избавился. В Альпах, близ Гренобля, оказалось слишком холодно. Теперь я обретаюсь в «Гибискусе», в квартире окнами на дорогу, и вынужден мириться с шумом. Сколько можно менять адреса! От себя не избавишься...

Зачем я это пишу? Объяснение простое: я с каждым днем все яснее понимаю, что так и не «переболел» Арлетт, и, если быть до конца откровенным, следует признать, что идея о дневнике пришла мне в голову совсем не случайно. По прошествии стольких лет я все еще испытываю потребность говорить о ней. В следующем месяце Арлетт исполнится шестьдесят три года, но я уверен, что возраст над ней не властен. Моя жена всегда была хрупкой и изящной женщиной, она проживет еще лет десять, не меньше. Я пытаюсь разобраться в себе без малейшей снисходительности. С любовью покончено, в этом нет

сомнений. Я ни при каких обстоятельствах не стану изображать терзаемого чувствами старика. Она меня бросила, вопрос закрыт. Так почему же я все никак не избавлюсь от мыслей о ней? Говорят, в глазу существует так называемая слепая зона. Думаю, нечто подобное есть и в сердце, этим и объясняется мое навязчивое состояние. Я — развалина, она — обитающий в ней призрак.

Но что это значит? Очевидно, она убила во мне доверие. Не маленькое глуповатое доверие, которое можно питать к любимой женщине, а то глубинное чувство, что заставляет нас заводить друзей, стремиться к успеху, жить полной жизнью и отвечать за собственное будущее. Я был могущественным человеком, готов утверждать это со всей ответственностью. У меня были интрижки, но они значили для меня не больше, чем бокал шампанского в праздничный вечер. Мне и в голову не приходило, что я обманываю Арлетт. Расставшись с очередной пассией, я делал жене дорогие подарки, осыпал ее драгоценностями. Она была моим пристанищем, почвой, на которую я опирался. Моей силой притяжения и моим чувством равновесия. Иными словами, она ушла у меня из-под ног, как земля, и я уподобился зверю, почуявшему землетрясение. Мне показалось, что разорвался мой брачный договор с Природой и все вокруг стало опасным и угрожающим.

Вот тогда-то мне и понадобилась нора, логово, убежище, где бы никому не было до меня дела, а все женщины были бы старыми перечницами. Да, именно так. Я не лгу. И не жульничаю, утверждая, будто забыл, что такое желание. Могу отправиться на берег моря, где полно полуголых дамочек, я все еще достаточно крепок и вполне способен... Нет! Никаких любовниц! Больше никто никогда не возьмет надо мной власть. Да и времени впереди осталось совсем немного!

Не возьмет надо мной власть... Я написал эту фразу не задумываясь и вдруг понял, что, возможно, впервые посмотрел правде в глаза. Не я женился на Арлетт — она взяла меня в мужа.

Мне было сорок лет. Я возглавлял «Омниум», крупнейшую в Марселе компанию по утилизации затонувших судов. Арлетт была дочерью одного из наших адвокатов. Мы не могли не встретиться, но что из этого впоследствии, не знал никто. Я был старше на двенадцать лет. Девушки считают цифры 40/28 вполне приемлемыми, они не думают, что когда-нибудь это соотношение изменится, превратится в 50/38, потом в 70/58. Очень скоро наступает момент, когда молодой еще женщине приходится терпеть рядом с собой старикашку. У Арлетт были все основания передумать. Я тогда очень много ездил в те места, куда не мог брать с собой жену. Корабли, увы, не идут ко дну поблизости от роскошных дворцов. Коротко говоря, я не был блестящей партией. Зато имел счет в банке. Не знаю, возможно, Арлетт все рассчитала с холодной рассудочностью? Или усталость с годами сделала свое дело? Или на закате молодости и красоты Арлетт нашла свой последний шанс, любовь, которая стерла морщины с сердца и лица? Я никогда не узнаю ответа...

Небольшая пауза, чтобы выпить ежевечернюю порцию отвара. Мне предстоит очередная бессонная ночь наедине с воспоминаниями. Перечитываю текст. Написано из рук вон плохо. Нанизываю одну фразу на другую, кривляюсь, как постаревший клоун. Как выразить правду на бумаге? Суть моей правды по-прежнему ускользает от меня. Я никогда не пойму, что было между мной и Арлетт на самом деле. В конечном итоге мне на это плевать. Спокойной ночи.

Я отправился на кладбище. Нога вела себя сносно, погода стояла великолепная. Пока

успошную опускали в могилу, я прогуливался по аллеям, слушая, как стрекочут цикады, и наблюдая за дроздами. Попадись мне на пути скамейка, я бы с радостью задержался. Несколько минут я отдохнул на верхней ступеньке лестницы, ведущей к дверям претенциозной часовни, и мне в голову пришла неожиданная мысль: наверное, будет хорошо лежать в этом парке. Я вообразил, как могла бы выглядеть табличка на памятнике:

Здесь лежит Мишель Эрбуаз
1903–1978
Не молитесь за него

Признаю, в такой надписи есть оттенок провокационности, так что если Хосе — или его бабушка — случайно забредут на кладбище, пусть не останавливаются у моей могилы. Впрочем, это маловероятно. Моему нотариусу непросто будет разыскать их. Придется связаться с Хосе, чтобы известить его о наследстве. А Арлетт ведь могла и умереть. Я никогда не переставал думать о ней. По закону она все еще моя жена. Кажется, вчера я написал, что Арлетт наверняка вышла за меня из-за денег? Так почему же она не захотела развестись и получить достойное содержание? Если бы не та ужасная записка, которую она оставила на моем письменном столе: «Я ухожу. Наслаждайся свободой. Ты так долго о ней мечтал», я бы решил, что она стала жертвой несчастного случая, и подал заявление о розыске в полицию.

Никогда не забуду тот момент. Я вернулся из Лорьяна, где купил обломки маленького нефтяного танкера, разбившегося на рифах Груа. Она швырнула мне в лицо свободу в тот самый момент, когда я не без труда обошел своего голландского конкурента. Мою свободу! Она была инструментом моей работы. Возможно, подчас я защищал свою свободу чересчур напористо, но это никогда не было направлено против моей жены. Бедная Арлетт! Ты ничего не поняла!

Я продолжил прогулку и попал в дальнюю часть кладбища, на пустырь, где землекопы готовят новые могилы. Скоро я завещаю похоронить меня здесь. Место мне нравится. Агент по торговле недвижимостью обязательно упомянул бы в разговоре с клиентом, что отсюда открывается изумительный вид на бухту. Под ногами хрустит сухая земля, идеальная почва для мумий. Мне не хотелось бы распасться на атомы в грязи.

На выходе с кладбища я встретил генерала, хромавшего в сторону автобусной остановки.

— Бедная Элиана! — воскликнул он, вцепившись в мою руку.

— Элиана?

— Да. Мадам Камински. Я хорошо ее знал. Боже, как быстротечна наша жизнь... Какое счастье, что она не страдала.

— Я мало с ней общался.

— Жаль. Это была значительная личность, с твердым, почти мужским характером. Вообразите — после смерти мужа она взяла в свои руки управление проволочным заводом на севере страны. Сыну едва удалось уговорить ее уйти на покой и поселиться здесь.

— Недуг не мешал ей?

— О чем вы говорите?

— Она ведь была практически слепа. Всегда ходила с белой тросточкой.

Генерал закашлялся и едва не задохнулся.

— Элиана видела не хуже нас с вами. Трость и очки с затемненными стеклами

помогали ей держать на расстоянии окружающих и переходить дорогу где вздумается, наплевав на машины. Уверяю вас, она была та еще штучка.

Не спрашивая моего согласия, генерал направился к бистро на углу.

— Сейчас мы с вами выпьем по рюмочке, — не терпящим возражений тоном заявил он. — В пансионе мне запрещают употреблять алкоголь, вот я и хожу на все похороны, чтобы потом иметь возможность «взбодриться». Но пусть это останется между нами.

Я посмотрел на часы.

— Бросьте, старина, никто нас не ждет. Мы с вами каждый день раскланиваемся в «Гибискусе», но случая поговорить не имели. Так что, раз уж мы встретились...

— Вы правы, друг мой. Все дело в моей застенчивости.

— Как давно вы присоединились к нашему маленькому сообществу?

— Скоро будет пять месяцев.

— Вам следовало сразу влиться в «коллектив».

Генерал был сама доброжелательность и явно твердо вознамерился взять мою судьбу в свои умелые руки. Он заказал два пастиса^[10] и сообщил, что собирается создать кружок любителей мелких ремонтных работ.

— Забить гвоздь, построгать рубанком — любое дело хорошо, чтобы развеять скуку.

— И что вы намерены мастерить?

— Пока не решил.

— А как будут использоваться ваши поделки?

— Думаю, никак.

В ворота кладбища медленно въезжал траурный кортеж.

— В «Гибискусе» часто умирают? — спросил я.

Мой вопрос прогнал владевшую нами неловкость.

— Не слишком, раз в три-четыре месяца, что неудивительно — многим обитателям нашего дома перевалило за восемьдесят пять.

Я счел нужным разрядить обстановку.

— Не слишком удачно для вас, генерал, если хоронят редко; значит, и порадовать себя глотком спиртного удастся нечасто!

— Ошибаетесь, друг мой, — с печалью в голосе произнес он. — Вокруг полно домов, подобных «Гибискусу», и у нас там много друзей. Старики в конце концов всегда знакомятся друг с другом. Кстати, вы слышали о советнике Рувре?

— Нет. Что за птица?

— Судья. Мы познакомились во время войны, в Соппротивлении. Если это тот самый Рувр, ему не меньше семидесяти пяти — семидесяти шести лет. Вчера прошел слух, что он займет место Элианы Камински.

— Клеманс что-то говорила о супружеской паре...

— Именно так. Квартира Элианы идеально подходит для пожилых супругов. Кроме большой спальни там есть гостиная-кабинет, где можно поставить кровать, и еще одно помещение, которое называют смешным словом «кухонька»... Цена, правда, умопомрачительная. «Гибискус» — хорошее место, даже отличное, но слишком дорогое, не находите? Впрочем, это последняя роскошь, которую мы можем себе позволить в этой жизни!

Я понял, что генерал не спешит вернуться, и откланялся. По правде говоря, я тоже никуда не торопился, но говорливость собеседника начала меня утомлять. Он готов был

перейти от советника Рувра к воспоминаниям о годах Сопротивления. От Сопротивления — к Сен-Сиру.^[11] От Сен-Сира — к учебе в коллеже. Целая биография «противоходом», каковых я досыта наслушался от обитателей нашего дома. Себе я запретил предаваться вздорной болтовне, и среди многих причин, подвигнувших меня на написание заметок, этот запрет сыграл главную роль. Достаточно перечитать написанное, чтобы понять, в порядке ли мой мозг, нет ли признаков старческой деменции, которая грозит всем нам. Я ни за что не допущу ничего подобного, но, откладывая со дня на день принятие «окончательного» решения — под разными предлогами, — могу быть уверен: положенный на бумагу текст немедленно выдаст приближение маразма, и отступить будет некуда. Это успокаивает.

Вчера, после ужина, я долго сидел на террасе, торжественно именуемой «солярием», где днем никого не бывает из-за жары. Вечерами это место окутывают ароматы цветов, а свет надолго задерживается там, словно бы по тайному сговору дня и ночи. На террасе стоят шезлонги, кресла из ротанга и низкие столики; крупные ночные бабочки скрипят крыльями, натываясь на абажуры ламп. Обитатели «Гибискуса» по вечерам играют в бридж или смотрят включенный на полную громкость телевизор. Окна большого салона открыты, до меня доносятся звуки стрельбы, и я воображаю, с каким детским восторгом на лицах мои «сотоварищи» по последнему приюту смотрят очередной вестерн.

Буфетчица Жанна вышла поинтересоваться, не желаю ли я выпить какого-нибудь настоя или свежавыжатого сока. Единственное, что мне нужно, это одиночество. Два последних дня были очень тяжелыми. Все мои внутренние демоны пробудились, и я боюсь снова свалиться в депрессию. Этого я больше не вынесу. Даю себе еще два дня. Крайний срок. Я лежал в шезлонге, смотрел на звезды и мысленно составлял завещание. Фразы приходили мне в голову сами собой, останется только положить текст на бумагу:

Я, нижеподписавшийся Мишель Эрбуаз, находясь в здравом уме и светлой памяти (что должно быть удостоверено, но меня это не волнует), завещаю все имущество моему внуку Хосе Игнасио Эрбуазу. В случае, если моя жена Арлетт Эрбуаз, урожденная Вальгран, заявит о своих правах на наследство, несмотря на то что она покинула супружеский очаг пятнадцать лет назад, мой нотариус мэтр Дюмулен, опираясь на брачный договор, в котором было зафиксировано раздельное владение имуществом, определит полагающуюся ей по закону минимальную долю наследства. Последний по времени адрес проживания Хосе, известный мне от него самого: Рио-де-Жанейро, авенида Сан-Мигель, 545. Адрес этот между тем мог устареть, поэтому я поручаю мэтру Дюмулену провести все необходимые разыскания, если, паче чаяния, мой внук покинул Бразилию. В том же случае, если Хосе нет в живых — это вполне вероятно, учитывая, что я пребываю в неведении касательно условий его существования, — мое состояние унаследуют Жан и Ивонна Луазо, мои кузены четвертой или пятой степени родства. Мы едва знакомы, однако, выбирая между государством и родственниками, пусть и самыми дальними, я выбираю последних. Составлено в «Гибискусе»...

Итак, все ясно. Я переписываю и ставлю подпись. Текст выглядит чуточку слишком торжественно, вычурно, «по-адвокатски». Я прекрасно осознаю нелепость этой комедии с завещанием. Нелегко выразить грубую правду, заключающуюся в том, что я — старик, до

которого никому нет дела, даже моему внуку, живущему где-то за тридевять земель. Скандал, несомненно, выйдет знатный. Возможно, стоит оставить записку с извинениями для мадемуазель де Сен-Мемен. Она управляет «Гибискусом» очень умело, с большим тактом и должна знать, что мой поступок не был вызван ни отчаянием, ни усталостью, ни болезнью, ни — тем более — «личными горестями», о которых заговаривают, когда кончаются другие аргументы. Я уйду. Только и всего. Я испил чашу до дна. И бросаю ее через плечо.

Я давно подготовился. Яд в маленькой коробочке спрятан среди лекарств, скопленных за несколько месяцев. К счастью, отравка не имеет ни вкуса, ни запаха. Я добавлю ее в горшочек с отваром и выпью — до последней капли, как Сократ. Меня свезут на кладбище, похоронят, а добряк генерал получит возможность «угоститься» рюмочкой и поднять себе настроение. С деталями церемонии они разберутся сами. Переезды всегда меня утомляли. Но мне бы хотелось лежать в гробу в любимом, в меру строгом темно-синем костюме. Нужно подумать о тех, кто будет со мной прощаться. Придут все — из праздного любопытства. Да, вот еще что: я хочу, чтобы в гроб положили два моих романа. Я покину этот мир и заберу с собой «мертворожденных детей». За всю жизнь, казавшуюся мне такой «наполненной», я не создал ничего более важного.

Я потерпел неудачу! Глупо, по-идиотски упустил случай! Рувры приехали в прошлый четверг, прямо перед тем, как я решил приступить к осуществлению моего плана. Квартиру едва успели освободить от вещей покойной мадам Камински. Новые жильцы чертовски спешили. Когда появляются «новенькие», весь дом приходит в волнение. Все шушукаются с понимающим видом! Обмениваются вполголоса сплетнями! «Говорят, он очень болен...» — «Вовсе нет! Он не так уж и стар, ему всего семьдесят шесть...» — «Жаль бедняжку; кажется, она намного моложе мужа!» Люди откровенничают, делятся имеющимися сведениями. «Я узнал от Мориса...» Массажеру Морису у нас доверяют почти так же, как «самой» Клеманс. «Рувр! Это что-то мне напоминает... Я знавал одного Рувра, погодите, сейчас вспомню... Ах да, во время алжирских событий...»

Пансионеры роются в воспоминаниях, уподобившись старьевщикам. К шести вечера волнение достигает апогея, кто-то бросает: «Они здесь...» Что же, волнение вполне оправданно, хотя сторонний наблюдатель вряд ли сумел бы что-нибудь заметить. Только «свой», член клана мог почувствовать — что-то готовится. Под разными предложениями кто-нибудь то и дело совершал обход холла, где стояли саквояжи и чемоданы вновь прибывших, искоса оглядываясь на лифт и возвращаясь к остальным. В салон доносились обрывки новостей. Кружки собеседников составлялись иначе, чем обычно, приобретая новые конфигурации. Случившееся привело к смене составов, ролей и занимаемых по рангу мест.

Я посвятил весь день прощанию с городом и, несмотря на бесповоротно принятое решение, пребывал в своего рода элегической грусти по миру, который готовился оставить навсегда. Все мои чувства обострились, и, вернувшись в пансион, я немедленно уловил нервные токи, исходящие от окружающих. Стало понятно, что придется на время отложить воплощение в жизнь задуманного. Не было никаких причин омрачать день приезда новых обитателей в «Гибискус», так не поступают, и точка. Умереть? Конечно! Но элегантно.

Сегодня я понимаю, что был слишком уж щепетилен, но, чтобы избежать недопонимания, расскажу все по порядку. Я спустился в столовую — как всегда в восемь вечера — и подумал: «Надо же, у нас аншлаг — в кои веки раз!» Никто не опоздал. Вильбер был в черном бархатном пиджаке, который надевал только по воскресеньям, собираясь на мессу. На столе между ним и мной, напротив Вильбера, стоял четвертый прибор.

— Мы кого-нибудь ждем? — спросил я, удивленный и одновременно раздраженный.

— Да, ждем, — подтвердил Вильбер. — Мадам Рувр. Мадемуазель де Сен-Мемен не хотела сажать ее за отдельный столик. Оказаться в одиночестве в первый же вечер — это выглядело бы как наказание. У нас занято всего три места, так что...

Жонкьер выглядел крайне раздраженным.

— Мы расскажем этой особе об обычаях нашего дома, — с воодушевлением продолжал Вильбер. — Это внесет некоторое разнообразие в нашу жизнь. И заставит вас оставить при себе соленые шуточки.

Жонкьер ничего не сказал в ответ, чем немало меня удивил: не в его правилах было оставлять последнее слово за Вильбером. Внезапно гул голосов затих — так в театре умолкают зрители, когда начинает подниматься занавес. На короткое мгновение любопытство взяло верх над воспитанностью. К нашему столу направлялись мадемуазель де Сен-Мемен и мадам Рувр. Короткие представления. Улыбки. И все вернулось в привычную

колею. Мадам Рувр принесла извинения. Она меньше всего хотела оказаться незваной гостьей за столом. Ее муж слишком устал, чтобы спуститься к ужину. Он никогда не ужинает.

— А с чем, позвольте спросить, связано недомогание вашего мужа? — поинтересовался знаток всех и всяческих болезней Вильбер.

— У моего супруга артроз тазобедренного сустава, ему трудно ходить.

— Да, этот недуг причиняет людям сильные страдания, — важно кивнул Вильбер. — Помогает только стапороз и витамин В.

Все время, что длилась эта «медицинская» беседа, я исподтишка наблюдал за своей соседкой, но возраста ее определить не сумел. Она была безупречно накрашена, идеально причесана, и мне вдруг пришло в голову, что лицо этой женщины подобно драгоценному украшению, которое надевают только вечером, по особым случаям. Белокурые волосы в красивой укладке выглядели идеально естественными. Улыбкой она чуть-чуть напоминала Арлетт, и мне вдруг стал неприятен вид собственной руки, усеянной старческими пятнами. Ладонь у нее была очень изящная, на безымянном пальце сверкал бриллиант.

Мне показалось, что Жонкьер чувствует себя в той же степени неловко, что и я. Он время от времени кивал, демонстрируя интерес к разговору, но слов никаких не произносил. Вильбер же, обычно такой сдержанно-молчаливый, был речист, жизнерадостен и даже игрив, хотя, недослышав, то и дело отвечал невпопад. По правде говоря, именно Вильбер спас «честь» нашего стола. Мы с Жонкьером являли собой жалкое зрелище: он никак не мог справиться с обидой на мадемуазель де Сен-Мемен, а я...

Я и сам не знаю, почему был в таком дурном настроении. Присутствие рядом женщины раздражало меня. Я чувствовал себя похожим на зверя, которого охотники тащат из норы на свет, чтобы убить. Вильбер нахваливал достоинства нашего дома, как если бы сам его создал и владел им. Прогулки... море в двух шагах... горы в часе езды... изумительный климат... Старый болван напоминал гида, шпарящего текст экскурсии по рекламному буклету.

Она слушала — очень доброжелательно. Поведение Жонкьера заинтриговало меня. Сначала я решил, что столь враждебная реакция типична для холостяка, чей покой неожиданно нарушили внешние раздражители, но теперь был уже не так в этом уверен. Я видел, как он напряжен, и вдруг подумал, что они с мадам Рувр знакомы. Эта мысль не оставляла меня, и я попытался собрать воедино смутные и, в конечном итоге, ни на чем не основанные впечатления. Мадам Рувр решила не ждать десерта и поблагодарила нас за любезный прием.

— Это сущие пустяки, — живо откликнулся Вильбер. — Надеюсь, вы окажете нам честь и отныне будете считать этот стол своим.

По взгляду Жонкьера я понял, что он готов придушить Вильбера.

— Ничего не обещаю, — ответила она. — Я пока не знаю, как будет организована наша жизнь.

Улыбки, учтивые кивки. Дама удалилась. Я ожидал, что Жонкьер спустит на Вильбера всех собак, но ошибся: он ушел, не проронив ни слова. Я последовал его примеру, оставив бедолагу колдовать над его «аптекой». Нет ничего удивительного в том, что люди одного социального статуса, да еще и имеющие порой общие интересы, могут однажды встретиться в доме престарелых на Лазурном Берегу. Репутация у «Гибискуса» великолепная. Наш дом — это «Негреско»^[12] для пенсионеров. Значит, Рувры и Жонкьер вполне могли где-то встречаться. Впрочем, что мне до них?!

А вот что! Поразмыслив, я понял, почему с того самого ужина меня снедает нетерпение. Эта милая дама меня отвлекает. Я был настроен на трудную задачу, собран, как атлет перед решающим рывком, а теперь мое внимание рассеивается. Все происходит так, будто я позволил вовлечь себя в скрытничанье, интриги и злословие, правящие бал в пансионе. И тому есть доказательство: я решил расспросить Клеманс. Обычно она первой начинает разговор, пока готовит шприц для укола, на сей раз я сам навел ее на тему Рувров.

— Бедняга, — вздыхает Клеманс. — У него частичный правосторонний паралич. Ходить он может, только опираясь на две трости. Видели бы вы этот ужас! Но с головой у него все в порядке. А какое достоинство! Даже в пижаме выглядит как председатель суда. Не удивлюсь, если он недолго протянет. Ему семьдесят шесть, а выглядит лет на десять старше.

— А она? Ей сколько лет?

— Шестьдесят два. Никогда не скажешь, верно? Я так поняла, что раньше она много занималась спортом. У нас еще не было возможности поболтать наедине. Сами знаете, я прихожу, делаю укол, меряю давление. Они только что приехали, но я уже поняла, что муженек вряд ли когда-нибудь оттаит. Она — другое дело. У этой женщины нелегкая жизнь.

— С чего вы взяли?

— Думаете, весело жить бок о бок с Папашей Брюзгой? Меня ничем не проймешь, не судья Рувр — мерзкий старик. Злой. У него это на лице написано.

Я слушаю пересуды и сплетни, хотя мне нет никакого дела до характера судьи Рувра.

— В полдень они едят вместе?

— Да. У себя. У него вроде как плохо действует правая рука. Хотите знать мое мнение, мсье Эрбуаз? Чем так жить, лучше умереть.

— И как их только согласились принять в нашем заведении?

— Что вы хотите — связи!

Клеманс удаляется, а я, как полный идиот, сижу и перевариваю ее рассказы. Пытаюсь представить, как мадам Рувр кормит Его честь. Брр, ужасно! Впрочем, Арлетт тоже помогала мне есть. Однажды. Я поскользнулся и сломал запястье. Это случилось в... трудно припомнить одну из дат в долгой череде минувших лет. Анри был еще жив; он тогда прислал письмо из Южной Америки, забыл, из какого города... Сегодня я готов поклясться, что Арлетт обрадовалась тому несчастному случаю, ведь я в кои веки раз полностью зависел от нее. Раненый самец! Одному богу известно, за какое количество унижений терпеливо, мало-помалу, изо дня в день, берет реванш мадам Рувр! Интересно, на кого в этой тайной схватке делает ставку Клеманс? Боже, до чего я дошел — пускаю в ход терминологию кулачных бойцов! Возможно, я во всем ошибаюсь. Хотел бы ошибаться. Это доказало бы, что мое воображение не умерло, а всего лишь дремало. Если бы я мог придумывать всякие истории — например, вообразить совсем иную мадам Рувр, — то, наверное, воскликнул бы: «Тем лучше!» В моем сердце вряд ли способна пробудиться любовь, но вкус к жизни я мог бы обрести. Все лучше, чем погибать от пустоты в душе!

Вчера вечером она была одета иначе. Я никогда не обращал особого внимания на дамские туалеты. Помню только, что у Арлетт было много платьев и в каждом она представала другой женщиной. Мадам Рувр только-только начала демонстрировать нам свои «образы». Итак, вчера вечером она сделала новую прическу, надела безупречно скроенное черное платье, бриллиантовые серьги и дорогое кольцо. Все завидуют нашему столу! Вильбер счастлив. Жонкьер замкнулся, у него «плохой день». Станный тип! Желая показать, что

разговор ему неинтересен, он поднимает очки на лоб — и готово дело, даже слуховой аппарат отключать не нужно, как поступает Вильбер. Жонкьеру неизвестно, что с этими круглыми стеклами на лбу он становится похож на подслеповатую жабу, а если бы и знал, нимало этим не обеспокоился бы: ему давно плевать на мнение других людей. Он сидит за столом, делает вид, что не понимает ни слова, и это выглядит почти оскорбительно.

Мадам Рувр притворяется, что ничего не замечает. За фаршированным крабом она заводит разговор о путешествиях. Вильбер в восторге — он поездил по миру не меньше моего. Я позволяю втянуть себя в разговор и не жалею об этом. Мною овладевает новое ощущение — приятное и одновременно болезненное, так бывает, когда пытаешься размять «заржавевшие» мышцы.

— Вы бывали в Норвегии? — спрашивает она.

— Только на побережье.

— Почему так?

— Мсье Эрбуаз торговал обломками, — едко замечает Вильбер.

Мадам Рувр посылает мне удивленный взгляд. У нее серо-голубые, широко расставленные глаза с едва заметными морщинками у внешних уголков, которые не может скрыть даже умело наложенный тональный крем.

— Вы продавали обломки?

Интересно, зачем Вильбер выбрал столь уничижительное определение? Я торопливо пускаюсь в объяснения, так, словно речь идет о каком-то презренном ремесле.

— Не продавал. Моя компания покупала потерпевшие кораблекрушение корабли, те, что не подлежали восстановлению. Мы их разбирали и извлекали ценные металлы. Если хотите, я торговал ломом. Через мои руки проходило все, что больше не могло плавать.

— Очень увлекательно!

— Как посмотреть, — вмешивается Вильбер; его раздражает, что я завладел вниманием дамы.

Жонкьер достает из футляра длинную голландскую сигару, аккуратно отрезает кончик, закуривает. Я готов поклясться, что он совершенно сознательно ведет себя так, как если бы сидел за столом в полном одиночестве.

— У меня есть альбом фотографий, — говорю я. — Могу вам показать, если хотите, но хочу сразу предупредить: некоторые весьма драматичны.

— Бойня, — со злым смешком замечает Вильбер. — Оссуарий погибших кораблей.

— Не слушайте этого человека, он все видит в мрачном свете, хотя не могу не признать, что при виде расколовшихся надвое, наполовину затонувших судов с проржавевшими бортами в ракушках я часто испытывал стеснение в груди.

Я был в ударе и по опыту прошлой жизни хорошо знал, что сюжет о погибших кораблях — самый что ни на есть выгодный, способный тронуть сердца самых красивых женщин.

Всех — но не Арлетт! Ей не было дела до обломков кораблей. В отличие от других. Мадам Рувр проявила интерес, и я, как старый лицемер, каковым — увы! — все еще остаюсь, рассказал несколько «ударных» увлекательных эпизодов. Жонкьер удалился, не удостоив нас даже кивком, раздосадованный Вильбер продержался дольше, но в конце концов ушел и он, извинившись, что оставляет нас одних. Беседа приобрела не сказать что более интимный, но личный характер. В начале вечера мы общались как постояльцы отеля, ненадолго сблизившиеся волей случая. Я осознал — как, впрочем, и она, — что мы оказались в этой столовой, в этом доме навсегда. Мое «навсегда» будет коротким — если я не отступлюсь от

своих намерений. А что станется с ней? Она все еще выглядит так молодо! Именно поэтому я расспрашивал ее максимально учтиво и сдержанно, давая понять, что мы — спутники и наш интерес к ней самая что ни на есть нормальная вещь на свете. Мадам Рувр рассказала, что они с мужем жили в Париже, но там стало почти невозможно найти надежных слуг.

— Не могу не признать, что с моим мужем бывает нелегко — болезнь сделала его раздражительным, — и боюсь, что у здешнего персонала быстро кончится терпение.

Я поспешил успокоить ее, сказал, что опасаться нечего — обслуга привыкла к капризам пансионеров, — и добавил со смехом:

— Все мы — маньяки, в той или иной степени!

Я не смеялся много месяцев и теперь не узнавал себя. Мадам Рувр продолжила в порыве откровенности:

— «Гибискус» нам порекомендовал друг семьи. У него самого был друг, который... Вы знаете, как это работает. Слухи передают изустно, как конфиденциальную информацию.

— И каково ваше первое впечатление?

— Вполне благоприятное... — Ответ последовал не сразу.

— Конечно, если бы у вас тут был хоть один знакомый... перемена обстановки прошла бы легче.

Я произнес эту фразу небрежно, как бы между прочим, и мадам Рувр ответила тем же тоном:

— Увы, мы никого здесь не знаем.

Она немедленно спохватилась и продолжила:

— Жаловаться причин нет, все здесь очень мило со мной!

— Мы постараемся «соответствовать», обещаю вам. Мсье Вильбер частенько брюзжит, но в этом виновата его язва. А мсье Жонкьер страдает лунатизмом. Сейчас он хандрит, но скоро все пройдет. Я же... впрочем, это неинтересно. Если я могу хоть чем-нибудь быть вам полезен... только скажите.

Она поблагодарила — порывисто? пылко? — сам не знаю, но простой учтивостью это точно не было.

— Вы пойдете посмотреть телевизор? — поинтересовался я.

— Мне не следует надолго оставлять мужа одного.

— Он способен передвигаться самостоятельно?

— С трудом.

Я понял, что это запретная тема, простился и ушел к себе.

Время было позднее. Я не стал закрывать на ночь окно. Я похож на пациента, которому врачи никак не могут поставить диагноз. Мне давно следовало уйти из жизни, но теперь я уже не так уверен, что хочу этого. Возможно, никогда не хотел и все разговоры о смерти были пустым трепом?

Мой мозг работает невероятно ясно — как у всех, кто страдает бессонницей. Впрочем, мыслить ясно не значит быть честным с собой. Не исключено, что есть нечто, о чем я предпочитаю не знать, и это нечто удерживает меня на краю пропасти, имя которой — «небытие». Сейчас это самое «нечто» обернулось любопытством, хотя мне безразлично, был Жонкьер знаком с мадам Рувр в прошлой жизни или нет. Мне все равно, но я застопорился, откатился назад. Эта женщина не должна была появиться рядом со мной. Я напоминаю организм, давным-давно лишившийся некоего гормона — назовем его гормоном Ж,

женским гормоном, — и вот простое соседство, аура ее аромата запустили во мне своего рода химическую реакцию, оживив что-то в самой глубине моего существа. Во всяком случае, такое объяснение кажется мне наиболее правдоподобным. Что не снимает проблемы. Я все так же остро ощущаю бесцельность своего существования. Пожалуй, осознание истинного положения вещей даже внушает успокоение и уверенность: передумав в последний момент, я бы проникся к себе глубочайшим презрением.

Два часа. Я выпил отвар. В нем было слишком много аниса, придется сказать Франсуазе. Если переборщить с анисом, вкус напитка становится слишком терпким и горьким. Помню, как в детстве, собираясь на рыбалку, я добавлял анисовую воду в кашу, служившую прикормом для плотвы и уклейки. Благословенное время! Моя бабушка жила совсем рядом с Йонной,^[13] так что мне нужно было только перейти дорогу и спуститься вниз по берегу. Наверное, именно желание вернуться в те счастливые дни побуждает меня каждый вечер глотать горький анисовый «напиток забвения», чтобы «уснуть и видеть сны».

Сегодня утром Клеманс как бы между прочим упомянула, что мадам Рувр зовут Люсиль. Это имя мне нравится. Старомодное, но милое. Оно напоминает коллеж и стихи Шатобриана, которые требовалось выучить наизусть. «Поднимитесь скорее, вы, желанные бури, которые должны перенести Ренэ в пространство другой жизни!»^[14] Брр! И все-таки Люсиль звучит куда лучше, чем Арлетт! Я всегда терпеть не мог имя Арлетт. Оно подходит только незамужним девушкам, но моя жена бесилась, когда я называл ее Арли или Летти... Пришлось звать ее «кошечкой», «котенком» или «киской» — в зависимости от настроения. Но оставим эту тему.

Всевидящая Клеманс сообщила мне, что сегодня утром у мадам Рувр были красные глаза, как будто она плакала. Если Клеманс права, стоит подумать, что могло расстроить... Люсиль. Подумать хотелось, и я до полудня гулял по берегу моря, размышляя над смыслом слова «старик». Когда человек становится стариком? Старик ли я? А Рувр? Уж он-то точно старик, раз передвигается с помощью двух металлических тростей, подтягивая за собой ноги (я не видел этого человека, но именно таким его себе представляю). Бог с ним, с Рувром, что сказать о себе? Да, у меня седые волосы. И несколько коронок. Но все остальное имеет вполне презентабельный вид. В сравнении с Вильбером и даже с Жонкьером я очень прилично сохранился. Еще пять-шесть лет назад фигура у меня была как у молодого. Так почему же Арлетт?.. Неужто она испугалась, что однажды придется стать сиделкой? Но мне тогда было всего шестьдесят. Возможно, мадам Рувр — мне больше нравится называть ее Люсиль — плакала от безысходности, понимая, что навсегда привязана к больному старику?

По пляжу группками разгуливала молодежь. Одна девица в купальнике едва не задела меня локтем и даже не извинилась. Она меня просто не заметила. Я был для нее чем-то вроде призрака, я не существовал. Мне в голову пришло определение: «Старик — человеческое существо, еще пребывающее в этом мире, но уже не существующее». Увы бедолаге судьбе Рувру! И увы мне!

Жонкьер предупредил, что будет обедать в городе. Странно! Он пришел в столовую, съел суп и немного пюре, коротко простился и был таков. Вильбер накапал лекарство в стакан, добавил какой-то белый порошок и половинку таблетки, строго взглянул на нас и проглотил лекарство. Люсиль пыталась сдержать улыбку.

— Посидите с нами, — сказал я Вильберу, — это единственный приятный момент дня.

— Не хочу быть назойливым, — буркнул он.

Ответ прозвучал так глупо и неуместно, что я не удержался и пожал плечами.

— Видите, они и впрямь невыносимы, — прошептал я, обращаясь к мадам Рувр.

Она озабоченно посмотрела вслед Вильберу.

— Я меньше всего на свете хочу нарушить сложившиеся устои. Думаю, будет нетрудно получить место за другим столом.

— Ни в коем случае! — воскликнул я и сменил тему, спросив, хорошо ли они устроились.

— Нужно уметь довольствоваться тем, что есть. В Париже... нет, я больше не хочу думать о Париже. Меня все устраивает, за исключением разве что первого завтрака. Молодая официантка...

— Франсуаза.

— Да, Франсуаза имеет неприятное обыкновение приносить оба подноса сразу. Один она ставит на столик в конце коридора, и кофе успевает остыть, пока она подает другой моему мужу. Это неприемлемо.

«Черт возьми! — подумал я. — Мадам Рувр явно не из числа непритязательных!» Поскольку мне Франсуаза нравится, я завел разговор о других обитателях «Гибискуса», чтобы отвлечь внимание привередливой парижанки от бедной девушки.

— Вы их оцените, обещаю. С возрастом люди становятся оригиналами... Видите хрупкую даму, что сидит у меня за спиной? Это мадам де Бутон... ей восемьдесят семь... Когда ее соборовали в первый раз — это было давно, до меня, она отказалась, потому что ей не понравился священник. «Ни за что! Он слишком уродлив!» Это чистая правда!

Люсиль смеялась от всего сердца.

— Вы же не станете утверждать, что у вас тут обитают исключительно выдающиеся личности!

— Конечно, нет. Не только исключительные. Но в основном.

— А как здесь развлекаются?

— Можно пойти на курсы йоги, записаться в хор или в университет для людей «третьего возраста». В приемной директрисы есть целый список занятий для досуга.

— Я, к несчастью, не вольна распоряжаться своим временем — из-за мужа. А библиотека здесь имеется?

— Не слишком богатая, несколько сотен томов. Но, если позволите, я сам буду снабжать вас книгами.

Я едва удержался, чтобы не похвастаться: «Я тоже когда-то был писателем!» Мое предложение явно обрадовало мадам Рувр.

— Еще один вопрос, с вашего позволения, — сказала она. — На принадлежащих вам сочинениях есть экслибрис или какой-нибудь другой символ? Вы не ставите на титульном листе свои инициалы?

— Нет. Но почему вы спрашиваете?

— Это могло бы не понравиться моему мужу. Он совершенно непредсказуем!

Вот об этом-то я и подумаю перед сном!

Боюсь, я лезу не в свое дело. Да, определенно не в свое, зато скука, окутывавшая меня подобно туману, взявшему в плен сбившийся с курса парусник, начинает рассеиваться. Вот почему я решил описать события сегодняшнего дня без стариковского брюзжания, так, словно во тьме моей ночи забрезжил слабый свет. Это не значит, что я обрел надежду. На что мне надеяться? Но мои мысли приобрели вполне определенное направление: я размышляю о мадам Рувр.

Необходимость прояснить небольшую загадку стала могучим стимулом для продолжения жизни. Я хотел бы знать — из чистого любопытства, да будет оно благословенно! — причину слез Люсиль. Должен признать, что пока я не слишком продвинулся, но одно интересное открытие все же сделал.

Итак, начнем по порядку. Мадам Рувр была права насчет первого завтрака: кофе мы получаем едва теплым. Грех невелик, но Франсуаза и впрямь «не ловит мышей». Придется поставить ей на вид.

Следом идет эпизод с ежедневным уколом. Короткий разговор с Клеманс.

«Вы сами-то верите во все эти лекарства, мсье Эрбуаз? Я вот что думаю: если тело устало, нужно отпустить его на покой».

Простолюдинка Клеманс наделена чертовски здравым смыслом, она этакая веселая фаталистка, и ей часто удается развеять мои мрачные мысли.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

— Как там Рувры? — спрашиваю я. — Расскажите мне о них.

— Сегодня утром к Его чести было не подступиться.

— В вашем тоне чувствуется насмешка...

— Ничего не могу с собой поделат. Ну скажите на милость, зачем мужчина с такой тощей задницей требует, чтобы его называли «господин председатель»?!

Мы захихикали, как проказливые школьники.

— Вы просто ужасны, Клеманс, для вас нет ничего святого.

— Возможно, вы попали в самую точку, мсье Эрбуаз.

Продолжим. День начался как обычно. День как день, изнурительно жаркий летний день. Душ. Бритье. Безмолвная беседа со своим двойником в зеркале. Волосы на висках поредели. Глубокие носогубные складки словно бы поддвигают уголки рта вверх, как на веревочках. Старый паяц, который все никак не насытится раёшным театром жизни! Иногда меня охватывает ненависть к себе за то, что я такой... траченный жизнью. Определение тривиальное, но очень точное! Ничего не поделаешь, жизнь со мной разочлась! Моя голова не убелена сединами, меня не назовешь дряхлым старикашкой, но я пришел в упадок, как статуи в общественных парках, покрытые серо-зеленой плесенью и птичьим пометом. Как бы там ни было, я решаю надеть элегантный костюм из серой рогожки, который меня стройнит, словно хочу произвести впечатление! В «Гибискусе» принято «держат марку»...

Но довольно философствовать, пора переходить к главному — рассказать о прогулке по парку. Ноги сами понесли меня в кипарисовую аллею. Я не торопился, пытаюсь «расходить» ногу, и вдруг услышал где-то совсем близко громкий разговор, да нет, не разговор — спор. Сначала я узнал голос Жонкьера, он произнес что-то вроде: «Так не пойдет!» Потом я заметил его голову над живой изгородью, Жонкьер очень высокий, и его разъяренное лицо

плыло вдоль зеленой стены, словно какой-то кукольник-весельчак насадил его на палку. Собеседника Жонкьера я не видел, но, услышав ответную реплику, понял, что это мадам Рувр. Не скажу, что очень удивился — я был уверен, что этих двоих связывает общий секрет. Мадам Рувр закричала:

— Берегись! Не доводи меня до крайности.

Они перешли на быстрый шепот, потом Люсиль воскликнула:

— Попробуй — и увидишь, на что я способна!

Голова Жонкьера уплыла в другую сторону. Я стоял, не решаясь шелохнуться, но не из страха быть обнаруженным — заметить меня они не могли. Просто я вдруг почувствовал себя преданным. Люсиль его любовница! Никаких сомнений. Они на «ты», да и тон разговора... только слабоумный не догадался бы.

Скрипнул гравий, бурное объяснение закончилось, и мадам Рувр пошла в сторону дома. Я продолжил прогулку, теряясь в догадках. Очевидно одно: мадам Рувр совсем не случайно оказалась в «Гибискусе». Она знала, что встретит здесь своего любовника, и все-таки приехала вместе с мужем. Так могла поступить только очень влюбленная женщина. Однако между ней и Жонкьером все непросто.

Я сел на любимую скамейку в глубине парка, чтобы спокойно обдумать запутанную интригу. Возможно ли, что несколько недель или даже месяцев назад между любовниками произошел разрыв? Нет, это исключено. Жонкьер живет в «Гибискусе» много лет. Но он — как, впрочем, и все обитатели дома — свободен в своих передвижениях, а значит, мог встречаться с Люсиль вне стен пансиона. Возможно, она часто приезжала сюда из Парижа? Нет, что-то не складывается. Рассмотрим факты: чета Рувров выбрала местом жительства «Гибискус», все хорошенько обдумав и разузнав, наведя справки о городе и доме.

Кроме того, характер отношений Жонкьера и мадам Рувр таков, что они говорят друг другу «ты», но делают вид, что незнакомы. Жонкьер позволил себе говорить с Люсиль в угрожающем тоне, считая, что их никто не слышит. Есть одно объяснение... очень романтическое, но я все-таки возьму его на вооружение, а если ошибусь, всегда смогу поискать другое. Мадам Рувр действительно была любовницей Жонкьера — отсюда и обращение на «ты», но, поселившись в «Гибискусе», он с ней порвал. Она не смирилась и приехала следом за ним сюда. Становится понятен приступ гнева Жонкьера — надо отдать должное этому человеку, он мгновенно взял себя в руки! — случившийся в тот момент, когда мадемуазель де Сен-Мемен представляла нам новую пансионерку. По той же самой причине Жонкьер теперь не всегда выходит к столу, а если появляется, держится отстраненно и с трудом скрывает неприязнь. Я понимаю, почему у мадам Рувр глаза бывают красными от слез. Мне ясен смысл случайно услышанной фразы Жонкьера «так не пойдет!», а сказать «не доводи меня до крайности!» могла только женщина, понимающая, что все кончено. Навсегда. Да, Люсиль выглядит именно так. Мне кажется, что последнее сражение состоится между ней и мной.

Вернусь к описанию этого столь богатого событиями дня. Жонкьер не явился к обеду, чем подтвердил мои подозрения. Вильбер пребывал в дурном настроении и не потрудился включить слуховой аппарат. Мне в голову пришло сравнение с гомеровскими воителями, удалившимися в шатры перед решающим сражением. Неясно одно — чем я мог его раздражить. Возможно, старик приревновал меня к нашей очаровательной соседке по столу?

Вскоре после начала обеда мадемуазель де Сен-Мемен сообщила, что хотела бы побеседовать со мной тет-а-тет. Милая церемонная мадемуазель де Сен-Мемен, такая

прустовская героиня, вынужденная зарабатывать на жизнь. Я отправился к ней в кабинет. В маленькой комнате было душно, несмотря на кондиционер: анонимная компания, владеющая «Гибискусом», не стала экономить на жизненном пространстве обитателей, но директрису явно «обидела». Она поинтересовалась моим здоровьем, а потом спросила, напустив на себя загадочный вид:

— Скажите, мсье Эрбуаз, мсье Жонкьер ничего не говорил вам о намерении покинуть нас?

Свершилось! Жонкьер капитулирует перед мадам Рувр.

— Я меньше всего хочу вмешиваться в его частную жизнь, — продолжила директриса, — но мне нужно знать, нет ли у него жалоб и нареканий на наше заведение. Он мог бы высказать критические замечания, вы ведь знаете, я конструктивно отношусь к критике.

— Уверяю, вам не о чем беспокоиться. У меня создалось впечатление, что мсье Жонкьер всем доволен.

— Тогда почему он решил уехать? Сменить «Гибискус» на «Цветущую долину»? Он упомянул «Цветущую долину»?

— Нет. Я впервые слышу это название.

— «Цветущая долина» — наш конкурент. Они только что открылись, расположены очень выгодно, на холмах Сен-Рафаэля.^[15] Этот дом ничуть не лучше нашего — комфорт тот же, а вот цены выше.

— Я был совершенно не в курсе. Значит, мсье Жонкьер намерен туда перебраться?

— Он не назвал мне ни точной даты, ни причины такого решения. Вам известен его характер...

— О да, человек он очень скрытный. Впрочем, как и все мы.

— Если бы вы знали, как это для меня огорчительно! — воскликнула мадемуазель де Сен-Мемен. — До сих пор никто не покидал «Гибискус» по собственной воле. Люди болеют, ложатся в больницу, но потом возвращаются, если, конечно... — Бессильный жест рукой. — Но таков наш общий удел. Не хочу даже думать о том, какой эффект возымеет демарш мсье Жонкьера.

Мадемуазель де Сен-Мемен наклонилась ко мне.

— Я чувствую себя совершенно разбитой, мсье Эрбуаз. Не могли бы вы вмешаться... о, очень деликатно... Попробуйте его переубедить... Возможно, все дело в обычном капризе. Владельцы «Цветущей долины» — наглые бахвалы! Вы окажете мне огромную услугу, мсье Эрбуаз.

Я прекрасно понимал опасения мадемуазель де Сен-Мемен, но роль посредника мне совсем не улыбалась. Подумать только — я собирался покинуть «Гибискус» первым, пусть и не совсем обычным способом!.. Если Жонкьер решил уехать, нам остается только пожелать ему счастливого пути.

— Почему бы вам не поговорить с мсье Вильбером? — спросил я. — Возможно, он осведомлен лучше меня.

— Боже упаси! Мсье Вильбер немедленно оповестит всех обитателей дома. Человек он неплохой, но сплетник ужасный. Думаю, вы успели это заметить. Сплетники бывают опасны. В прошлом году мы по его вине едва не попали в пренеприятнейшую историю. Обещайте попробовать, прошу вас, мсье Эрбуаз.

Я пообещал — и промучился всю вторую половину дня. Задать Жонкьеру вопрос в лоб я

не мог: он сразу поймет, что я знаю правду о нем и мадам Рувр, и, не дай бог, решит, что именно она поручила мне выяснить правду. Этого я допустить не хотел ни при каких обстоятельствах. Так с какой же стороны к нему подобраться? Жонкьер посвятил в свои планы только мадемуазель де Сен-Мемен, значит, сослаться на «слухи» не получится. Он вряд ли обрадуется досужему любопытству, так что разговор обещает выйти неприятный.

Шесть часов. Впервые за много месяцев я не почувствовал, как пролетело время. Раньше такое случалось, когда я занимался каким-нибудь сложным делом. На короткое мгновение меня охватили пьянящий восторг и возбуждение. Поиск решения подействовал как успокоительное, застарелая глухая боль ненадолго отступила, я ощутил прилив энергии. Так тому и быть — я пообщаюсь с Жонкьером, раз уж разговор с ним является частью успешного лечебного метода.

Во время ужина все места за нашим столом были заняты. Мадам Рувр выглядела совершенно безмятежной: очевидно, сцена, невольным свидетелем которой я стал, несколько ее не расстроила. Или все дело в умело наложенной косметике? Она улыбалась и разговаривала с нами с естественной непринужденностью хозяйки светского салона. Ничто не предвещало беды. Вильбер поинтересовался, как себя чувствует Председатель, и она ответила: «Начинает привыкать, ему нравится „Гибискус“».

— Думаю, он немного скучает, — вмешался Жонкьер.

— Вовсе нет.

— Значит, он — счастливое исключение из общего правила, — хмыкнул Жонкьер и посмотрел на меня, как будто хотел призвать в свидетели неискренности мадам Рувр. — Спросите у Эрбуаза, весело ли ему здесь живется.

— С чего вы взяли... — вскинулся я, раздосадованный его догадкой.

Жонкьер не дал мне продолжить.

— В детстве мы живем в интернате, в молодости — в казарме, повзрослев — женимся, а в старости отправляемся в дом престарелых. Я задыхаюсь! Мне нечем дышать!

Он резко встал и сжал пальцами виски, как будто у него внезапно закружилась голова.

— Прощу меня простить, — сухо бросил он и направился в холл.

— Что с ним происходит? — удивился Вильбер. — Если человек с таким отменным аппетитом уходит из-за стола сразу после первого блюда, значит, он и впрямь дурно себя чувствует.

— Мне показалось, что мсье Жонкьер покидал нас в сильном гневе, — заметила мадам Рувр.

Какое самообладание! Только очень опытная притворщица способна так правдоподобно изобразить вежливое безразличие.

— Возможно, это приступ неврастения, — предположил я. — Или хандры. С каждым случается... время от времени. Достаточно пустячного повода, чтобы сорваться.

Последняя фраза призвана была смутить ее. Я ждал... Сам не знаю чего — чтобы у нее дернулись губы или дрогнули ресницы... ждал и не дождался.

Обстановку разрядил Вильбер.

— Эрбуаз прав, — вздохнул он. — В некоторые дни возраст дает себя знать, но ты держись, черт побери! Взять хотя бы меня...

Он был в ударе. Нам оставалось одно — слушать и время от времени кивать, выказывая согласие и одобрение. Мадам Рувр откровенно скучала, но улыбалась, и ее улыбка побуждала Вильбера продолжать. Не знаю, возможно, за маской любезности она сгорала от

нетерпения. Женская двойственность в действии. Я долго не понимал — и так и не понял! — как Арлетт удавалось до самого конца скрывать свои истинные чувства... Она тоже пряталась за улыбкой — женской улыбкой, которая вводит вас в заблуждение, заставляет чувствовать себя умным и желанным. А бедный глупый Вильбер распустил хвост и, не жалея стариковских сил, старался очаровать нашу даму. Вдовец ожил и того и гляди влюбитя.

Я готов был воскликнуть: «Воздуху мне! Воздуху!» — но не хотелось выглядеть грубым. Я ждал, когда мадам Рувр сочтет возможным удалиться, чтобы последовать ее примеру, не рискуя обидеть Вильбера.

— Прелестная женщина, — мечтательно произнес он. — Только такой мужлан, как Жонкьер, может этого не замечать.

«Наивный недотепа! — подумал я. — Жонкьер первым понял, как она хороша!»

Я отправился к себе, но на пороге комнаты вдруг сообразил, что Жонкьер, сорвавшись за ужином, сам дал мне повод выразить ему сочувствие, поинтересоваться здоровьем и исподволь выяснить, почему он хочет покинуть «Гибискус». Я постучал в его дверь, но ответа не дождался.

— Вы ищете мсье Жонкьера? — спросила горничная, закрывавшая ставни и расстилавшая постели. — Я видела, как он пошел в солярий.

Воистину удача сегодня на моей стороне! Я поднялся на лифте на террасу и увидел в дальнем углу Жонкьера: он сидел в шезлонге и курил сигару, поставив локоть на перила ограждения.

— Простите, дружище, не знал, что тут кто-то есть! Не помешаю?

— Нисколько, — любезным тоном ответил Жонкьер.

Я устроился рядом с ним в шезлонге. Тихие сумерки и роскошная красота закатного неба располагали к откровенности.

— Мы беспокоились, — начал я, — за ужином вы, кажется, нехорошо себя чувствовали?

— Ерунда, — небрежным тоном бросил он. — Небольшой приступ хандры. Вы поселились в «Гибискусе» сравнительно недавно и пока что этого не понимаете. Я же торчу здесь уже семь лет, вижу одни и те же рожи, слушаю одну и ту же глупую болтовню. Поневоле начнешь задыхаться. Подождите немного — и сами все поймете.

Мяч был на моей стороне, и я не упустил свой шанс.

— Понимаю... Открою вам маленькую тайну. Отойдя от дел, я сменил несколько заведений, подобных нынешнему. Мне нравится «Гибискус», но я совсем не уверен, что задержусь здесь. Пусть это останется между нами...

Мне показалось, что мои слова живо заинтересовали Жонкьера, и я решил развить успех.

— Кое-что меня просто бесит. В том числе — «вторжение» мадам Рувр за наш стол... Будь мы в вагоне-ресторане, я бы понял. Но не здесь!

Жонкьер наживку не заглотил. Он бросил недокуренную сигару через перила балюстрады, и она приземлилась на цемент тремя этажами ниже. В нашем разговоре наступила длинная пауза, потом Жонкьер пробормотал:

— Если бы знать, где его искать, этот вожделенный покой...

Он сдвинул очки на лоб, задумчиво помассировал веки и вдруг спросил:

— Вы намерены сделать еще одну попытку? Мне вряд ли хватит сил. Старея, мы теряем кураж, становимся ленивыми. Собирать вещи, упаковывать, распаковывать... пожимать

множество рук при прощании... объясняться... Остаться будет менее утомительно. И все же...

На нас медленно надвигалась ночь. Жонкьер вытащил из кармана футляр, достал еще одну сигару, торжественно ее раскурил — меня всегда раздражало это его позерство — и положил футляр и спички на столик, давая понять, что собирается пробыть на террасе не меньше часа, а то и двух.

— И все-таки, — продолжил он, — у меня часто возникает желание собрать пожитки и сделать ручкой честной компании. Думаю, в каждом человеке, обошедшем рифы семидесятипятилетия, уживаются беглец и инвалид. Мысленно мы стремимся к свободе, видим себя на воле, но вот физическая оболочка... Ей хорошо на привязи. Согласны?

— Ваши рассуждения кажутся мне вполне справедливыми, — соглашаюсь я. — Моя жаждущая сбежать ипостась берет верх над другой, ленивой, поэтому я всегда навожу справки обо всех домах престарелых в округе — на случай, если соберусь переселиться. Будь я зверушкой, хотел бы жить под землей, в глубокой норе со множеством входов и выходов.

Он рассмеялся, но на откровенность его не потянуло, а мне не хотелось выдать себя неосторожным вопросом.

— Беда в том, — сказал я, — что заведений такого класса крайне мало. Государство открывает богадельни, последние прибежища для малообеспеченных, но не думает о тех, кому хватает средств, чтобы протянуть достаточно долго в достойных условиях. Настоящим богачам дома престарелых не нужны. Чиновники, художники, артисты, уходя на покой, остаются жить в своем кругу. А нам как быть? Где найти приют? Что мы имеем на тридцати километрах побережья? «Гибискус», да еще этот новый, только что открывшийся дом — «Долина цветов».

— «Цветущая долина», — мгновенно поправил Жонкьер.

— Вы что-нибудь о нем знаете?

— Немного. На наш он непохож. Это комплекс маленьких бунгало, очень-очень комфортабельных. Каждый постоялец чувствует себя хозяином собственного дома.

— Одиночество без отчуждения... Понимаю, — откликнулся я.

— Именно так. Весьма соблазнительно. Между нами говоря, я об этом подумываю.

Я не забыл о поручении мадемуазель де Сен-Мемен. Мне удалось — не без труда — разговорить Жонкьера на нужную тему, теперь остается отвлечь его от «Цветущей долины». Что я и постарался исполнить как можно лучше. В аргументах недостатка не было. «Цветущая долина» находится слишком далеко от большого города. Если вдруг понадобится срочная операция (этого боятся все старики!), транспортировка в больницу займет много времени. А казино? Он подумал о казино, где его называют «мсье Робером»? А мы, его друзья? Разве ему не будет нас не хватать? Иными словами, перемена места ничего не даст. Он будет лицезреть те же пальмы, мимозы и розы, и небо над головой останется неизменным. Решительно, игра не стоит свеч.

— Возможно, вы правы... — кивнул он.

Наш разговор занял не больше часа, я и сейчас помню его во всех деталях. Думаю, я убедил Жонкьера, но не уверен, что поступил правильно. С чего это вдруг я с таким усердием защищал интересы «Гибискуса», до которого мне в действительности нет никакого дела? Наверное, из любопытства и желания продолжить игру. Если Жонкьер останется, что решит наша красавица соседка? Как она тогда сказала: «Увидишь, на что я способна!» Эта фраза крутится у меня в голове, как назойливый припев. Ну что же, посмотрим, на что

именно она окажется способна!

09.30.

Франсуаза принесла мне поднос с завтраком и сообщила новость. Я потрясен. Жонкьер мертв. Он упал с террасы.

Полночь.

Что за день! И какое приятное возбуждение. Я, конечно, не радуюсь смерти бедняги Жонкьера, но, поскольку решил заносить в дневник все свои ощущения и настроения, не могу не упомянуть, что наш «улей» пребывает в волнении. Иначе как «коллективным волнением» это не назовешь.

«Подумать только, до чего мы дожили! — сказала престарелая мадам Ламбот, вцепившись в мою руку мертвой хваткой (это удивительно само по себе — обычно мы только раскланиваемся). — Невероятное происшествие, настоящий скандал!»

Этот эпизод свидетельствует о той степени возбуждения, которое овладело всеми пансионерами. Самые инициативные уже сочинили петицию с требованием немедленно сделать балюстраду солярия значительно выше. На мадемуазель де Сен-Мемен нет лица. В доме полиция. Траур и позор. Итог — я не заметил, как пролетел день. О том, чтобы уснуть, и речи нет: я слишком взбудоражен. Я знаю — только я! — что Жонкьера убили.

Изложу все с самого начала.

Сегодня утром Франсуаза сообщила мне о смерти Жонкьера. На рассвете садовник нашел тело, лежавшее у подножия солярия, и поднял тревогу. Примчалась мадемуазель де Сен-Мемен.

— Она даже парик не надела, — добавила пикантную деталь Франсуаза.

Оставить тело лежать поперек аллеи было невозможно. Призвали Блеша, совершавшего утренний моцион, он отправился предупредить Клеманс, а Фредерик пошел за тележкой. Несчастливого Жонкьера временно спрятали в узкой ризнице. Передаю слова Клеманс, которая явилась делать мне укол с часовым опозданием.

— Ну вот, вы уже в курсе! — возмущилась она. — Идиотка Франсуаза могла бы попридержать язык! Не та это новость, с которой нужно торопиться!

Клеманс объясняет причину своего недовольства:

— Теперь мне придется всех успокаивать. Метаться между ними, как угорелой кошке. Стоит умереть одному, и у остальных обостряются болячки.

— Так что же случилось с Жонкьером?

— Поди узнай!

— А что говорит доктор Веран? Он много лет «обслуживает» «Гибискус» и осведомлен о недугах каждого из нас лучше любого другого. Он составил мнение о случившемся?

— Доктор считает, что у мсье Жонкьера могла закружиться голова — у него прыгало давление. Очевидно, он решил продышаться, встал, подошел к краю и прислонился к ограждению. Бедняга был очень высоким, балюстрада едва доходила ему до середины бедра, вот он и свалился. Но это не более чем догадки.

— Когда это случилось?

— Точное время назвать трудно. По мнению Ларсака, между десятью и одиннадцатью вечера. Вы уж меня извините, мсье Эрбуаз, у меня сегодня мало времени, поболтаем в другой раз. Мне бы тоже не помешал отдых, но здесь никому нет дела до медсестер. Как

говорится, крутись или сдохни.

Итак, Жонкьер мертв. Я все еще не могу в это поверить. Перед глазами стоит «картинка» вчерашнего вечера: Жонкьер достает сигару и закуривает. Как долго это воспоминание будет мучить меня? Да, у него закружилась голова, он потерял равновесие и упал, иного разумного объяснения нет. Обычно я надолго растягиваю утреннюю церемонию — принимаю душ, бреюсь, одеваюсь, — но сегодня тороплюсь присоединить свой голос к хору общих сожалений. Впервые за много месяцев во мне — вот ведь странность! — снова пробудилась жизнь. Я написал, что тороплюсь, хотя давным-давно забыл сладостное чувство возбуждения, когда кровь начинает быстрее течь по жилам. Спасибо, Жонкьер.

Я спускаюсь в большой салон,жимаю руки мужчинам, прислушиваюсь к разговорам и замечаю Вильбера — он что-то объясняет собравшимся вокруг него слушателям. Меня тоже окружают — видимо, надеются, что я, как бывший «компаньон» покойного по столу, сумею пролить хоть какой-то свет на загадочную смерть.

— У него действительно подсакивало давление?

— Держалось в районе 200.

— Ничего фатального, у меня 180, и я никогда не чувствовал себя лучше. Причину несчастья следует искать в чем-то другом.

— С некоторых пор Жонкьер выглядел озабоченным. Видимо, плохо себя чувствовал. Он никогда ничего не говорил о своем состоянии за столом?

— Нет.

Кто-то сообщает мне: «Его брата уже оповестили, он должен появиться сегодня вечером. Других родственников у Жонкьера не было».

Я выхожу из дома и направляюсь к тому месту, где обнаружили тело. Там собралось несколько любопытных. Одни стоят задрав головы и пытаются на глазок определить расстояние между солярием и землей. Высота не бог весть какая, но метров двенадцать будет. Другие угрюмо молчат, разглядывают место, куда «приземлился» Жонкьер, и предаются невеселым мыслям. Все понимают: если несчастный внезапно потерял равновесие, причиной тому стал инфаркт, но заговорить об этом никто не решается. Инфаркта здесь боятся не меньше рака, вот и предпочитают винить слишком низкое ограждение, жару, несварение и даже неосторожность жертвы... В самом деле, достаточно слишком сильно перегнуться и... Обитатели «Гибискуса» сходятся в едином мнении: «Я никогда не поверю...», «Болезнь коварна...», «Надеюсь, этот проклятый солярий закроют...» Постепенно гнев вытесняет печаль и подавленность.

Около десяти появляется полицейский комиссар с двумя типами — видимо, инспекторами. Я не слишком сведущ в полицейских делах, но твердо решил не сообщать им, что был с Жонкьером на террасе незадолго до его гибели. Расскажи я об этом комиссару, пришлось бы объяснять, зачем я в тот вечер отправился в солярий. Сыщиков не касается ни ссора Жонкьера с мадам Рувр, ни его намерение покинуть «Гибискус». Им незачем знать, что мадемуазель де Сен-Мемен поручила мне переубедить его. Все это только усложнит и без того непростое дело.

Но что же мадам Рувр?.. Насколько сильно эту женщину поразила внезапная смерть человека, которого я продолжаю считать ее любовником? Достанет ли ей мужества появиться за ужином? Будет интересно понаблюдать за ее поведением.

Прогулявшись по парку, я возвращаюсь к себе, чтобы позвонить дантисту и записаться

на прием. Я перестал обращать внимание на кариес, когда решил уйти из жизни, но теперь с этим придется повременить — я хочу дождаться развязки «дела Жонкьера». Пока что никто не интересуется моим мнением о происшествии. Я никому не нужен. Скорее всего, дело быстро закроют, ведь улики практически отсутствуют, а интересы владельцев «Гибискуса» могут пострадать, если станет известно, что один из пансионеров разбился насмерть, упав с террасы солярия. Я жду приглашения в кабинет мадемуазель де Сен-Менен, но скоро обед, а меня так и не вызвали. Я чувствую облегчение и досаду. Возможно, Вильбер раскопал что-нибудь новое, он всегда знает больше остальных. Глухой, но осведомленный, таков наш Вильбер!

Мое предположение оказывается верным. Я сажусь за стол, он глотает таблетку и сообщает с тихим ликованием в голосе:

— Есть кое-что новенькое!

Он вздергивает брови, морщит лоб, быстро-быстро кивает, как китайский болванчик, и многозначительно улыбается.

— Они восстановили картину происшествия. Несчастный случай. Когда обнаружили тело, никто не подумал об очках. Первой сообразила Клеманс — когда ей стали задавать вопросы, потом Блеш и садовник. Если бы Жонкьер был в очках, их нашли бы рядом с телом — с целыми ли стеклами или с разбившимися, но нашли бы. Обыскали спальню и в конце концов обнаружили злосчастные окуляры. Как вы думаете где?

— Думаю, в самом неожиданном месте.

— Именно так. В корзине для бумаг. Бедняга уронил их... сами знаете, как это бывает... отвлекся, расслабился...

Сделав паузу, Вильбер продолжил:

— Они думают, что Жонкьер решил подышать свежим воздухом. Вы же помните, ему вечно было жарко. Дальнейшее нетрудно представить: он поднимается в солярий, идет по террасе — не слишком уверенно... натывается на ограждение и — вуаля!

— Такова версия полиции?

— Нет, об этом говорит здравый смысл. Будем логичны!

Призыв произнесен тоном, который отбивает всякое желание спорить по пустякам. Зачем мне ему противоречить? Объяснение, предложенное полицией, вносит в души успокоение. Раз дело не в болезни, каждый обитатель «Гибискуса» имеет полное право обвинить Жонкьера в неосторожности. А если так, нечего разнюниваться. Жонкьера, конечно, очень жалко, но он сам виноват!

— Откуда у вас все эти сведения?

Вильбер бросает на меня озорной взгляд — совсем как кот, загнавший клубок шерсти под кресло. Он улыбается и дает изумительно остроумный ответ:

— Я слушаю!

Настаивать бесполезно. Я возвращаюсь к себе, не закончив обед. Там мне открывается истина. Я ложусь на кровать и тут же вспоминаю, как Жонкьер закуривал сигару... Черт побери! Ну конечно... Я помню это с фотографической точностью. Версия, которую полиция собирается завтра скормить прессе, совершенно ошибочна.

У меня вспотел лоб. Я разволновался. Мысли скачут, как блохи, и подводят меня к выводу, с которым я заведомо не согласен. Нужно вернуться к началу и разложить все по полочкам. Итак: Вильбер считает, что Жонкьер захотел подышать и поднялся на террасу, хотя перед этим куда-то задевал очки и не смог их найти. Но я знаю — я один знаю! — что

Жонкьер уже сидел на террасе, когда я там появился, и на нем были очки. Следовательно, у него не было никаких причин часом позже спускаться к себе, а потом снова возвращаться в солярий. В какой-то момент кто-то к нему присоединился, и именно этот кто-то толкнул его вниз.

Потом убийца решил убедиться, что жертва мертва, заметил, что очки Жонкьера не разбились, и решил спрятать их в корзинку для бумаг. Уловка простенькая, даже наивная, но ведь сработало! Полиция, готовая принять самое простое объяснение случившегося, немедленно заявила, что произошел несчастный случай. Нет. Это был не несчастный случай, а преступление... возможно, даже убийство — если человек, толкнувший Жонкьера, хотел, чтобы он упал с террасы. Как бы там ни было, злоумышленник подошел к телу жертвы и увидел, что Жонкьер не дышит, так что звать на помощь не имеет смысла. К чему создавать осложнения, почему бы не направить следователей по ложному следу? С помощью очков...

Так кто же преступник? Чье имя приходит на ум первым? Будем логичны, как любит говорить Вильбер: конечно, мадам Рувр. Если бы она не угрожала Жонкьеру практически в моем присутствии («Не доводи меня до крайности... Увидишь, на что я способна...»), я принял бы версию несчастного случая — за неимением другой, более правдоподобной. Но я знаю. И представляю себе сцену преступления так ясно, как если бы присутствовал при случившемся. Мадам Рувр ждет, когда муж заснет, выходит, стучит в дверь Жонкьера. Вероятно, она настроена на решительное объяснение. Ей не открывают, и она поднимается в солярий. Жонкьер там, он один. Происходит ссора. Жонкьер вскакивает. Облокачивается на перила. Они стоят совсем рядом, и это происходит. Что именно? Мадам Рувр толкнула Жонкьера или оттолкнула его? Возможно, он попытался схватить ее за руки, она стала вырываться и... О ужас! Жонкьер исчез.

Несчастливая женщина! Она вынуждена молчать, чтобы не погубить свою репутацию. Злые языки ее не пощадят, скажут, что это было свидание, что она изменяет мужу и так далее, и тому подобное. Она собирает волю в кулак, проверяет тело, и ей хватает хладнокровия сообразить, какую выгоду можно извлечь из чудом уцелевших очков. Исключительная женщина! Я ею восхищаюсь.

Да, восхищаюсь, но должен дать ей знать, что все понял и что остальные обитатели дома тоже не идиоты. Мне хочется сказать: «Я для вас неопасен, а возможно, даже сумею помочь». В этом желании есть толика тщеславия, хотя помочь ей я хочу совершенно искренне. И все-таки придется взглянуть на нее другими глазами. Досадно ли мне? Честно говоря, нет. Меня это скорее забавляет, как будто мы с мадам Рувр играем в этикие прятки, но знаю об этом только я.

К ужину она не вышла. Я не удивился. Любая женщина была бы потрясена. Официантка сообщает, что Его честь дурно себя чувствует. Ну конечно! Удобная отговорка! Люсиль просто боится предстать перед бдительными очами Вильбера. И мои!

Вильбер сообщает, что прилетел брат Жонкьера. Похороны состоятся послезавтра. В столовой стоит привычный гул голосов. Смерть Жонкьера разъяснилась и стала одним из тех событий, о котором лучше поскорее забыть.

Близится полночь. Впервые за долгое время я чувствую физическую усталость, как будто совершил значительное усилие. Замечательная усталость! Прежде чем лечь, запишу еще один короткий комментарий. Я, конечно же, ничего не расскажу полицейским. У меня действительно есть все основания считать, что мадам Рувр защищалась, а Жонкьер ей угрожал. Так, во всяком случае, я объясняю случившееся себе. И других причин не вижу.

Пожалуй, мне нравится идея, что своим молчанием я смогу обеспечить ей покой.

Я не услышал будильника Жонкьера — именно это разбудило меня сегодня утром. В ожидании подноса с завтраком перечитал сделанные накануне записи. Совсем недавно я сокрушался из-за собственной немоги, а теперь вот сочиняю настоящий роман. У меня есть декорации, среда, персонажи, а со вчерашнего дня — происшествие, перипетии, драма, дающая толчок к действию. Забавно! Увы, продолжения не будет — я не хочу снова стать жертвой собственных фантазмов.

Склонность к самомучительству заставляет меня думать, что я могу быть косвенно виноват в смерти Жонкьера. Вернемся к фактам. Жонкьер страшно зол на мадам Рувр. Она ему мешает — настолько, что он даже подумывает съехать из «Гибискуса». Тут вмешиваюсь я. Пытаюсь убедить его в преимуществах жизни в «Гибискусе». Он соглашается. Говорит, что останется. В конце концов, он поселился в этом доме первым, так что, если кто и должен уехать, это Рувры. Если понадобится, он пойдет к председателю и так прямо ему и заявит: «Увезите вашу жену! И дайте мне покой!»

Между Жонкьером и мадам Рувр происходит жестокий спор. Не вмешайся я, он был бы сейчас жив. Да, версия хлипкая, но, даже если я ошибся в деталях, в целом угадал верно. Значит, мадам Рувр вправе быть на меня в претензии. Мы чужие люди, но между нами возникла некая невидимая связь. Я рассматривал свое молчание как одолжение, в действительности же это моя обязанность. Скажу больше: в случае необходимости я должен буду защитить ее. Но что, если я лелею свою щепетильность лишь для того, чтобы потешить самолюбие? Мой психотерапевт не раз замечал: «Вы все время „смотрите в зеркало“ и принимаете разные позы». Диагноз был точным, но я излечился. Раз и навсегда!

Видел брата Жонкьера. Потрясен до глубины души. Вылитый Жонкьер, только моложе. Лицо, фигура, даже очки такие же. Он приехал на похороны, а заодно за вещами, которые теперь принадлежат ему. Мы перекинулись парой фраз, и мне не показалось, что он так уж сильно опечален трагической гибелью брата. Из его слов я понял, что они практически не общались. Я пригласил его на ужин (не без задней мысли — он мог быть знаком с мадам Рувр!), но он отговорился делами, хотя род его занятий мне неизвестен. К слову сказать, мадам Рувр не показывалась весь день.

Сегодня утром Клеманс была в лучшем настроении, и я навел ее на разговор о Руврах. Она сообщила, что у председателя чудовищные боли в бедре и он зол на весь мир. «Мне жаль беднягу, — прокомментировала Клеманс. — Я не феминистка, и некоторые ситуации меня возмущают».

— Господин председатель... Звучит красиво, — пошутил я. — Вы, случайно, не знаете, где именно он «председательствовал»?

— Кажется, в суде присяжных.

— Ему сообщили о смерти Жонкьера?

— Да, он в курсе. Мсье Рувр не расстается с транзисторным приемником и узнал о несчастном случае из выпуска местных новостей. Мне показалось, что они были знакомы, но это только догадка, а спрашивать, сами понимаете, я не стала.

— А что мадам Рувр? Почему она вчера не вышла к ужину?

— Доведись вам ухаживать за калекой, вы бы тоже лишились аппетита, мсье Эрбуаз.

— А дети у супругов есть?

— Нет. Но ей пишут из Лиона. Консьерж видел обратный адрес и фамилию

отправителя: *мадам Лемере*. Скорее всего, это ее сестра. Я выясню.

Я внезапно осознаю, что за всеми обитателями «Гибискуса» постоянно наблюдает множество глаз: директриса, консьерж, ночной сторож, медсестра, горничные, официантки... Наверняка есть и другие. Наблюдение за постояльцами — единственное развлечение, доступное персоналу. Нужно будет получше спрятать мои записи. Я никого не подозреваю, но не могу поручиться, что Дениза, явившись перестелить постель и пропылесосить, не сует повсюду свой любопытный нос. Я уберу тетрадь в шкаф под белье и буду носить ключ с собой. Ситуация, если подумать, весьма любопытная. Обслуге легко попасть в любое помещение, открыв замок универсальным ключом. Постояльцу может стать плохо, и медсестра или врач должны иметь возможность войти, не взламывая дверь. Напоминает опеку. Каждый из нас находится под неусыпным наблюдением, и это раздражает. Некоторые привозят свою мебель, другие довольствуются казенной, но отпереть замки шкафов, секретеров и комодов в любом случае не представляет никакого труда. Никто из нас не опасается ограбления. Готов спорить, что большинство обитателей даже днем не закрывают на ключ двери своих апартаментов. Считается, что, поселившись в «Гибискусе», мы покупаем себе полную безопасность. Я никогда ничего не слышал даже о мелких кражах.

Впрочем, любопытство в чем-то сродни воровству, и ни один из нас от него не защищен. Что помешает, например, Денизе воспользоваться моим отсутствием и обшарить карманы висящих в шкафу костюмов и ящики письменного стола? И что помешает ей сказать, сидя за столом с другими слугами: «Между прочим, Эрбуаз — ну, этот хромой, который всегда держится в сторонке от остальных, — ведет дневник. Я знаю, что говорю, видела своими глазами. Вот ведь умора!» Нужно придумать надежный тайник.

В часовне собралось много народу. Траур — наше будущее. Каждый сегодня пришел на отпевание ради себя. Мадам Рувр тоже здесь. Она надела темно-серый костюм. Интересно, такой выбор что-нибудь означает? Я нахожу ее непривычно бледной. Что она чувствует — печаль, сожаление, угрызения совести? Будет ли она на кладбище? Я ищу глазами ее венки, символ последнего «прости», среди множества других, которыми украсят катафалк.

Присутствующие приносят соболезнования брату покойного. Он хранит невозмутимость, слегка кивает каждому в ответ на дежурные фразы. Младший Жонкьер напоминает распорядителя похорон. Толпа рассеивается по аллеям парка. Отойдя на достаточное расстояние, люди пускаются в разговоры, как школьники на перемене после скучного урока.

Мадам Рувр незаметно исчезла. Проводить Жонкьера до могилы решили немногие. Мы рассаживаемся по машинам. День сегодня жаркий. Брат усопшего, непривычный к такому злему солнцу, прикрывает затылок шляпой. Стоящая рядом со мной мадемуазель де Сен-Мемен шевелит губами. Генерал вытирает пот со лба и наверняка думает о прохладном зале маленького бистро, где он в скором времени «взбодрится» парой-тройкой рюмочек. Вильбер нервничает и то и дело дергается. Чешется. Переминается с ноги на ногу. Он не мог не прийти, но хотел бы быть сейчас в другом месте — не важно где, лишь бы не здесь.

Наконец-то все закончилось. Мы выходим за ворота кладбища. Брат Жонкьера холодно благодарит нас и садится в «Ситроен» мадемуазель де Сен-Мемен.

— Вы же не пойдете назад пешком, — говорит она, обращаясь к генералу. — Не глупите! Вам вредно находиться на такой жаре.

Он посылает нам сожалеющий взгляд и подчиняется, бурча что-то себе под нос.

— Нам с Эрбуазом нужно поговорить, — бросает Вильбер. — Езжайте.

Машина трогается с места. Я поворачиваюсь к Вильберу.

— Вам есть что мне сообщить?.. Ладно, тогда давайте выпьем, на углу есть кафешка.

— Боже упаси! — восклицает он. — Мне нельзя ничего холодного. А вот немного пройтись нам не помешает. Я наблюдаю за вами, Эрбуаз, и уверенно заявляю: вы мало двигаетесь.

Следует небольшая назидательная лекция о пользе пешей ходьбы.

— Так что вы хотели рассказать? — спрашиваю я, возможно, чуточку слишком резко.

— Ах да! Это насчет мадам Рувр. Вам не показалось странным, что она отсутствовала на погребении?

— Еще как показалось!

— Мадам Рувр — дама с прекрасными манерами, мы пригласили ее за наш стол. У нее должна быть очень веская причина.

— И вы знаете, что это за причина?

Вильбер никогда не дает прямого ответа на вопросы. Он напустил на себя хитрый вид и продолжил:

— Во вчерашнем номере «Нис Матен» опубликован некролог на смерть Жонкьера с перечислением всех его титулов и званий. Кое-что меня крайне удивило: инженер Национальной высшей школы искусств и ремесел. А ведь он, если помните, всегда утверждал, что закончил *Центральную школу гражданских инженеров в Париже*.

— Неужто соврал?

— Не торопитесь! Я решил убедиться и заглянуть в «Кто есть кто»,^[16] отправился к моему нотариусу и... раскрыл секрет.

— Жонкьер действительно был инженером в «Искусствах и ремеслах»?

— Да. Насчет Центральной школы он шутил. Но вот что еще я вычитал в этом полезнейшем издании: в тридцать пятом году Жонкьер женился на девице Вокуа, с которой развелся в сорок пятом.

— Вокуа — девичья фамилия Люсиль?

— Имейте терпение, черт бы вас побрал! Конечно, я прочел и заметку о Рувре. Кстати, он был председателем суда присяжных. Так вот, в сорок восьмом году Рувр женился на некоей Люсиль Вокуа.

— Значит, мадам Рувр — бывшая жена Жонкьера?

— Именно так!

Новость поразила меня и одновременно принесла огромное облегчение. Люсиль никогда не была любовницей Жонкьера! Слава богу! Придется еще раз обдумать все свои гипотезы. Да, они когда-то жестоко поссорились, но по какой причине?

— Согласитесь, дама не лишена хладнокровия, — продолжил Вильбер. — Мало кто догадался бы, что они были знакомы. Давным-давно, тридцать лет назад. За тридцать лет можно многое забыть!

Он рассмеялся, и я мысленно поморщился: меня всегда раздражало это его ехидное кудахтанье.

— Жонкьер, судя по всему, ее не забыл. Подумайте, какое совпадение: не проходит и недели со дня приезда бывшей жены, и бедняга насмерть разбивается, упав с террасы.

— Но как связаны появление мадам Рувр в «Гибискусе» и смерть Жонкьера?

— Никак.

Мы дошли до автобусной остановки.

— Нагулялись? — поинтересовался Вильбер. — Повторяю: вы ведете малоподвижный образ жизни. Посмотрите на меня — я упражняюсь, и это приносит свои плоды. Ну что же, всего наилучшего, увидимся за ужином.

Он задержал мою руку в своей и произнес доверительным тоном:

— Возможно, она соблаговолит присоединиться к нам за столом! — и довольно хохотнул.

Старый лицемер! Какая мне разница, выйдет мадам Рувр к ужину или нет? Я сел в автобус и так глубоко задумался, что проехал свою остановку. Пришлось возвращаться, костеря себя в душе почему зря. Что с того, что она когда-то была замужем за Жонкьером? Была и перестала. Возможно, у нее имелась веская причина столкнуться с ним. И причина эта не в неразделенной любви, а в давней и внезапно ожившей ненависти.

Я пытаюсь думать о другом. И не могу. Хожу туда-сюда по комнате и говорю себе, что вижу ее скорее в образе отчаявшейся женщины, но никак не уязвленной, жаждущей отомстить бывшей супруги.

...Случилось нечто совершенно неожиданное. Я сел в кресло, чтобы как следует все обдумать, и уснул глубоким сном. Таким глубоким, что, проснувшись и взглянув на часы, не поверил своим глазам. Четверть девятого. Так и ужин недолго пропустить.

Я быстро оделся и вышел. За дверью меня ждал еще один сюрприз, и какой! По коридору медленно, тяжело опираясь на трости, шел старик в халате. Со спины он напоминал гориллу. Я сразу узнал председателя, отступил назад и спрятался в дверном проеме. Рувр явно шел к себе. Но откуда он возвращался? Возможно, муж Люсиль пользуется временем, когда все обитатели дома собираются за ужином, чтобы погулять по коридору и хоть на мгновение почувствовать себя свободным? Знает ли об этих «вылазках» его жена? Или он совершает их тайно?

Председатель скрылся из виду. Я подождал еще несколько секунд, прошел по пустынному гулкому коридору и сел в лифт. Мадам Рувр была уже за столом. Я сдержанно поздоровался и развернул салфетку, искоса поглядывая на нее. На Люсиль был короткий коричневый пиджак и юбка в мелкую складку. Наряд выглядел очень элегантно, но показался мне почти легкомысленным для женщины, чьего пусть и бывшего мужа только что предали земле.

Тема, которую обсуждали Вильбер и та, кого я мысленно называл вдовой, удивила бы кого угодно. Вильбер рассуждал о стоимости могил.

— Покупка места на новом кладбище — отличная инвестиция. Цена участка будет только расти. Я подобрал для себя хорошее местечко, и гранильщик взял вполне умеренные деньги. Камень красивый и очень простой, с выгравированной надписью... Назвать вам цену?

— Давайте сменим тему, — слегка раздраженно предложил я.

— Я вас шокирую? — поинтересовался Вильбер у мадам Рувр.

— Нисколько, — ответила она. — Не вижу ничего странного в подобной предусмотрительности.

— Особенно в том случае, если у человека, как у меня, нет родственников, — заметил Вильбер. — Переселившись в «Гибискус», я счел нужным заранее обо всем позаботиться. Я не суеверен — проживу сколько проживу, — но так будет спокойней, согласны?

— Нет, — сухо отрезал я.

— В таком случае прошу меня извинить!

Вильбер отключил слуховой аппарат, вылил в стакан содержимое ампулы, потом высыпал туда же белый порошок.

— Кажется, он обиделся, — прошептал я.

— Тсс! — Она улыбнулась и приложила палец к губам.

— Не беспокойтесь, он нас не слышит. Излишним чувством такта этот грубиян не страдает. Тем не менее он прав. Сделав все распоряжения, остаешься хозяином самому себе... Вот только не стоило затрагивать эту тему сегодня.

Вильбер успел заставить место на столе, еще недавно принадлежавшее Жонкьеру, своими коробочками, тюбиками и флаконами. Он пытался разломить пополам крошечную таблетку, и его старческие узловатые пальцы дрожали от напряжения.

— Дайте мне, — предложила мадам Рувр. — Я это умею.

Она взяла таблетку.

— Будьте очень аккуратны, — попросил Вильбер. — Мне ни в коем случае нельзя превышать дозу... Спасибо.

Он выпил лекарства, встал, коротко кивнул и направился в салон.

— Забавный тип, — сказала мадам Рувр. — Кажется, он страдает повышенной тревожностью, я права?

— Да, Вильбер очень чувствителен, даже обидчив. Вечно считает себя оскорбленным... Не хотите выпить кофе? Хотя сейчас довольно поздно...

— Вовсе нет! Чашка кофе будет очень кстати.

Я так подробно пересказываю наш разговор не потому, что считаю его важным, просто фразы, которыми мы обменялись, как нельзя лучше передают атмосферу этого странного вечера. Атмосферу доверия и, пожалуй, непринужденности в общении. Нет, непринужденность — это сильно сказано. По правде говоря, мне трудно дать точное определение. Наверное, правильной будет употребить слово «близость». До сегодняшнего дня между нами непреодолимой преградой стояла ее церемонная любезность, а сегодня вечером она в каком-то смысле открылась мне, объяснив, что не отказывается от кофе, потому что после ужина читает мужу.

— Что именно вы ему читаете? Романы?

— Боже, конечно, нет! Он предпочитает документальные очерки... Сейчас я читаю «Когда Китай проснется», его очень занимает эта тема.

— А вас?

— Куда меньше! — с лукавой улыбкой ответила она.

— У вашего мужа слабое зрение?

— Дело не в зрении... Мне бы не следовало этого говорить, но...

— Не беспокойтесь, мадам, я умею хранить чужие секреты.

— Понимаете, он искренне убежден, что церемония «чтения на ночь» доставляет мне ничуть не меньше удовольствия, чем ему. Муж хочет, чтобы я развлекалась — вместе с ним. Его трудно за это упрекнуть... Болезнь стала для него чудовищным испытанием.

— А для вас?

Вопрос вырвался сам собой и остался без ответа.

— Хорошо представляю, каково вам приходится, — продолжил я. — Надеюсь, что вы все-таки имеете возможность хоть иногда отлучаться и не привязаны...

— Конечно, нет! Мне время от времени дают «увольнительную».

Она сознательно выбрала шуточный тон, и я сделал вид, что принимаю предложенные правила игры.

— Понимаю, понимаю. Поручения... покупки...

— Именно так. Любая женщина легко найдет повод пробежаться по магазинам, но я никогда надолго не задерживаюсь.

— Но почему? В случае необходимости мсье Рувр может вызвать Клеманс или горничную.

— Вы правы, конечно, может, но он такой неосторожный... Если меня нет рядом, он легко выходит из себя, теряет терпение и, вместо того чтобы спокойно сидеть в кресле, пытается ходить — если это можно так назвать! — и рискует упасть. Встать сам он не сумеет. Мой муж — сущий ребенок, он чувствует себя уязвимым, понимает, что зависит от других, и от этого становится еще более властным и вспыльчивым.

Я на мгновение отвлекся, представил, как Рувр ковыляет по коридору к лифту, выходит на террасу и оказывается лицом к лицу с Жонкьером. Да, но спуститься вниз, чтобы подобрать очки, он бы точно не смог, а главное — и это делает мое предположение совершенно абсурдным — поздно вечером жена всегда находится при нем.

— Мне бы очень хотелось быть вам полезным, — сказал я. — Если вы представите меня мужу, я смогу время от времени составлять ему компанию, пока вы будете отсутствовать, не оглядываясь на часы.

Не успев закончить, я мысленно обругал себя: «Да что с тобой такое, старый болван?! Разыгрываешь сердцеда, а сам похож на траченного жизнью сенбернара. Не лезь с глупыми предложениями!»

— Это невозможно! — К моему великому облегчению, она ответила мгновенно и совершенно твердо. — Вы очень добры, и я ни за что не сделала бы вас объектом его взбрыков. Знали бы вы, какой он ревнивый собственник...

Она открыла сумочку, достала пудреницу и быстро провела пуховкой по лицу. От этого судорожного жеста у меня защемило сердце: он напомнил мне Арлетт. Я тоже, сам того не понимая, вел себя как ревнивый собственник. Теперь мне некого мучить, я превратился в безработного палача! Я встал, с трудом сдерживая желание расхохотаться.

— Позвольте откланяться, дорогая мадам. Увидимся завтра вечером.

— Прощайте, мсье Эрбуаз.

Отчего я так взбудоражен, на что злюсь и почему одновременно чувствую удовлетворение? Я не решился перевести разговор на Жонкьера — и не знаю, какой была бы ее реакция. В действительности я и не хотел этого знать. Правда в том, что мне было практически невозможно поверить в ее виновность. Да и вечер мы провели очень приятный.

Пустой день! В детстве бабушка говорила: «Вечно ты маешься, не знаешь, чем себя занять!» Сегодня у меня с самого утра было такое же чувство, я не знал, куда себя деть, и вышел в город. Интересно, в каких магазинах делает покупки Люсиль? Я посетил «Призюник», прогулялся мимо модных бутиков — просто так, без всякой цели. Чего я хотел? Встретить ее? Проводить, как делает влюбленный мальчишка? Конечно, нет! Хочу сразу внести ясность: Люсиль меня не интересует. Вернее, Люсиль могла бы меня интересовать, будь я уверен, что она убила Жонкьера. Я то уверен в этом — и тогда жизнь приобретает вкус, то не уверен — и жизнь начинает казаться скучной. Я возобновляю мысленное расследование, снова обретаю уверенность и цепляюсь за нее. Признаюсь, она

меня слегка пугает. Эта женщина обязана контролировать любые проявления эмоций, чтобы муж ничего не заподозрил.

Эту — главную! — сторону дела я пока не обдумал. Муж Люсиль — судья. Скольких обвиняемых он допросил за годы службы? Этот человек недоверчив в силу профессиональной привычки. Бедная женщина вынуждена улыбаться, притворяться и быть всегда настороже. Ужасная жизнь! Внезапно я понял, что столкнулся с серьезной нестыковкой. «Несчастный случай» с Жонкьером произошел около десяти-одиннадцати вечера. Но Люсиль в это время читала мужу «Когда Китай проснется» и не смогла бы выйти. Интересно, принимает ли Его честь снотворное? Завтра утром расспрошу Клеманс.

10.00.

Разговор с Клеманс меня успокоил. Запишу вкратце полученные от нее сведения. Квартира Рувров состоит из трех помещений: спальни, гостиной-кабинета-жилой комнаты и маленькой кухоньки — плюс, естественно, ванная и туалет. Председатель ночует в спальне, один, на очень широкой кровати. У него бывают сильные боли, в том числе по ночам, и он не хочет, чтобы кто-то был рядом в такие моменты. Его жена спит на раскладном диване в соседней комнате.

— Он пьет какое-нибудь снотворное?

— Да, и лошадиными дозами, но поди с ним поспорь!

— И в котором же часу судья засыпает?

— Точно не скажу, но, думаю, довольно рано. А почему вы спрашиваете?

— Я тоже страдаю бессонницей — вы это знаете; вот и решил поинтересоваться товарищами по несчастью — вдруг кому-то удалось «приручить» сон.

Итак, все поддается простому объяснению. Когда председатель засыпает, Люсиль может закрыть дверь в свою комнату и делать что хочет, например пойти в кино или прогуляться. Пользоваться центральным входом необязательно, на улицу легко попасть через задний дворик. Мы могли бы встречаться вне стен «Гибискуса».

Я шучу. Предаюсь время от времени фривольным мыслям, примеряя на себя разные роли, чтобы потешить воображение. Ничего другого мне не остается!

Вильбер сегодня к ужину не вышел: видимо, опять разыгралась язва. Мы с Люсиль чувствуем некоторое смущение — так, словно осмелились назначить друг другу свидание на глазах у изумленной публики — и сначала обмениваемся банальными репликами: «Как здоровье мсье Рувра?» — «Как ваш ишиас?» Я говорю о своей болезни с нарочитой небрежностью, чтобы Люсиль не записала меня в категорию немощных старцев. Потом каким-то непонятным образом разговор заходит о библиотеке «Гибискуса».

— Вы были правы, богатой ее не назовешь, — говорит Люсиль.

— Нам необходим человек, готовый серьезно взяться за дело. Здесь обитатели практически не читают. Я было предложил свои услуги, но быстро отступился — по лени и из эгоизма.

— Не верю, вы не похожи на эгоиста.

— Поверите, когда узнаете меня поближе.

Ну вот, я ступил на опасную тропу — говорю глупости, пошлые комплименты...

— А что, если за дело серьезно возьмусь я? — вдруг спросила мадам Рувр.

— Вы?

— Почему нет? Всю работу я, возможно, сделать не успею, но каталог составлять начну.

— Как отнесется к этой идее ваш муж?

— О, я совершенно уверена, что он не станет возражать, если я буду посвящать работе час в день. После обеда мой муж почти всегда дремлет, так что... А вы бы не согласились помочь мне? Для работы над каталогом нужны двое — один сортирует книги, другой их переписывает. Мне так хочется сделать что-нибудь полезное! Составив каталог, мы будем иметь все основания просить, так сказать, субвенцию. У здешних обитателей есть средства, они будут не против пожертвовать немного денег на благое дело.

Я колеблюсь. Когда человек так долго бездельничает, ему нелегко — даже на мгновение — отвлечься от умствований и предпринять что-нибудь реальное. Кроме того, мне заведомо известно, какие книги будут востребованы постояльцами «Гибискуса», и я не думаю, что на этих авторов стоит тратить силы. Люсиль ждет ответа, и я вдруг пугаюсь — что, если и ее вкусы покажутся мне подобными? — но трусливо соглашаюсь. Мы оживленно обсуждаем наш проект, и я с удивлением обнаруживаю в ней организаторские способности. Я — человек другого поколения, и меня всегда изумляют решительные, способные предложить четкий план женщины.

— Вижу, вы все обдумали.

— Не люблю импровизаций, — категорично заявляет она.

Ее безапелляционность мне не нравится, хотя объяснить это непросто. Я делю всех женщин на два типа: один — женщина-«пища», другой — женщина-«соперница». Арлетт была из первых, из тех, которыми обладаешь, берешь не только их тело, но и их душу. Я наслаждался манерой поведения Арлетт, тем, как она говорила, смеялась, гневалась. Мне никогда не пришло бы в голову поинтересоваться ее мнением — ни по какому вопросу! — я не сомневался, что она всегда и во всем со мной согласна. Женщины-«соперницы» наделены твердой волей, они инициативны и умеют строить планы.

Итак, проект библиотеки. Зачем «Гибискусу» библиотека? Фраза «я не люблю импровизаций» леденит кровь. Получается, что тем вечером, на террасе... К какой категории отнести Люсиль? От женщины-«пищи» в ней до сих пор сохранилась внешняя привлекательность: изящный профиль — хотя щеки слегка увяли, как осеннее яблоко, красивые волосы — о да, крашенные (седина у корней выдает это). Ее грудь еще не обвисла, руки — они первыми выдают возраст женщины — не выглядят старыми, походка способна взволновать мужчину. Но манера говорить, взгляд — я назвал бы это «психической составляющей» — выдают глубинную энергию и спокойную уверенность в себе. Я хочу узнать истинную суть Люсиль, понять, за что она могла убить бывшего мужа. С одной стороны, подобная жестокость не в ее духе, с другой — в этом нет ничего невозможного. Меня терзают сомнения, и я пока не знаю, как их прогнать.

Мы обречены жить бок о бок друг с другом, и я всякий раз при встрече с Люсиль невольно задаюсь вопросом: «Так что же произошло тогда на террасе?» Ответить на него я смогу одним-единственным способом: стать другом Люсиль, «приручить» ее, постаравшись не обжечь собственное сердце. Не стоит приуменьшать опасность. Разговоры с ней уже волнуют меня сильнее, чем следовало бы. Я внимаю ее словам, впитываю их, как пески пустыни дождь. Огонь, вода... Несвойственные мне мыслеобразы выдают обуревающее душу смятение, чем я безмерно встревожен.

Решено! Мы постараемся «снять с мели» библиотеку. Я сообщу о нашем намерении мадемуазель де Сен-Мемен.

Пустой день. У меня еще остались друзья. Немного. Несколько человек. Они мне пишут. Это трогательно и одновременно печально: нам больше не о чем говорить. Жизнь отполировала нас, как гальку, сгладив шероховатости и острые углы, помогавшие нам взаимодействовать. Я отвечаю на письма. Мой ишиас и их диабет — неисчерпаемая тема для обсуждений. Я «держу фасон» — не признаюсь, что несчастлив. Они знают, что это неправда. Я знаю, что они знают. Эта ложь, часть привычных условностей, помогает им выживать.

С пяти до шести я гуляю вдоль моря. Туристов становится все больше. Я уныло бреду по песку, тоскуя от безделья. У меня слишком много свободного времени. Иногда хожу в кино, хотя современные фильмы, стремящиеся эпатировать публику, навевают на меня скуку. Чем себя занять? Сесть за столик в кафе, наблюдать за прохожими? Нет. Я должен сохранить ясность мыслей. Время от времени я посещаю художественные вернисажи, конечно, если там выставлены не абстрактные картины. В молодости я писал неплохие акварели. В акварелях всегда присутствует мечтательность. Присутствовала... Современные художники предпочитают яркие, «наглые» цвета — так проще пустить пыль в глаза зрителю.

Я бы хотел выразиться иначе — более изящно, ведь я не из тех, кто только и делает, что все время ругает настоящее, подобно обитателям пансиона: «Вот в мое время...» Старческий маразм легко маскируется под мудрость и возмущенно отвергает все новое! Стоит чуточку «поскрести», и становится ясно: страх новизны равносителен страху перед любовью. Все мы пытаемся согреться жаром былых страстей — это заставляет нас чувствовать себя живыми. Но разве кто-нибудь испытывает настоящую любовь — здесь и сейчас? Есть ли среди обитателей «Гибискуса» хоть один человек, готовый рискнуть хрупким равновесием старческого организма ради того, чтобы почувствовать себя счастливым?.. Еще хоть раз пережить волнение страсти, прилив желаний, волшебство загадочного чувства по имени Любовь?! Бедный хромоногий Фауст взбунтовался!

Мадам Рувр написала красивое объявление и прикрепила его к висящей у лифта доске. Эта доска — стенной журнал нашего дома. Программы кинопросмотров, концертов, выставок, театральных представлений. Разнообразные объявления: «*Утерян носовой платок с вензелем Р.*», «*Члены группы „Йога для всех“ приглашаются во вторник в гимнастический зал*» и все такое прочее. Лекции о «Загадочной Индии», загрязнении Мирового океана, скрытых возможностях мозга... Очень важно держать пансионеров в тонусе, этаким приятном возбуждении, так напоминающем подлинную веселость.

Объявление Люсиль привлекло внимание нескольких любопытных. «Давно пора было заняться библиотекой», «Мадемуазель де Сен-Мемен могла бы и сама об этом подумать...», «Ничего не выйдет, каждый будет предлагать свои названия». Помещение, где хранятся книги, находится рядом с бельевой. Комната небольшая, мебели мало. Несколько стеллажей, длинный стол, три стула. Вид у библиотеки запустелый. Книгам требуются новые переплеты. Я купил несколько рулонов плотной бумаги и коробку этикеток. Работа не кажется мне скучной, я вспоминаю красивые обложки своих школьных учебников, подписанные старательным почерком: *Мишель Эрбуаз. Шестой класс, классическое отделение.* Это было — о боже! — шестьдесят пять лет назад.

В два часа появляется Люсиль в серой блузе с амбарной книгой под мышкой.

— Напоминаете школьную учительницу, — улыбаюсь я. — Муж не возражал против вашей затеи?

— Не слишком. Но он не поверил, что идея привести в порядок библиотеку принадлежит мне.

— И ему это не понравилось.

Она молча пожала плечами, села за стол, открыла инвентарную книгу и надела очки. К счастью, они ее нисколько не старят, разве что придают серьезный и чуточку строгий вид. За работу! Я начинаю с писателей на «А», произношу вслух фамилии и названия, она записывает. У нее красивый четкий почерк, на мой вкус, чуточку слишком крупный, методичный и старательный. Я ничего не понимаю в графологии, но почерк мадам Рувр совершенно не похож на мой, он отражает упорство характера. Я стою перед столом и называю по буквам фамилии — их не так много, и все они ей знакомы. Ощущаю исходящий от нее аромат — запах кожи и цветочных духов, смотрю, как блестит на шее золотая цепочка. Мужчина всегда возбуждается, подглядывая за женщиной, он не просто смотрит — обнимает взглядом.

Мы говорим тихими голосами, почти шепотом. Паузы заполняются уютным молчанием. Я произношу — мягко, без нажима: Клод Авлин,^[17] «Двойная смерть Фредерика Бело» — и это звучит как изысканный комплимент. Я отхожу к полкам, чтобы проверить, не осталось ли там авторов с фамилией, начинающейся на первую букву алфавита, и нахожу Робера Арона.^[18]

— Эта книга будет интересна Ксавье, — говорит она.

— Кто такой Ксавье?

— Мой муж. Меня зовут Люсиль. А как ваше имя?

— Мишель.

— Милое имя. Молодое.

— Вы надо мною смеетесь.

— Вовсе нет... Сколько вам? Шестьдесят пять? Шестьдесят восемь?

— Увы, больше.

— Вы прекрасно выглядите.

Ну вот, мы уже откровенничаем, причем по ее инициативе! Я веду себя безупречно. Мы клеим этикетки. Она тщательно вписывает название, потом вдруг спохватывается, смотрит на крошечные часики на запястье.

— Боже, уже половина четвертого! Как незаметно пролетело время! Мне пора, завтра обязательно продолжим. Работа очень меня развлекла.

Мы прощаемся за руку, и она поспешно удаляется. «Тюремщик» ждет! Я присаживаюсь на угол стола. Итак, она *развлеклась*. А ведь со смерти Жонкьера прошло всего несколько дней... Впрочем, кто дал мне право осуждать эту женщину? Совсем недавно я готовился свести счеты с жизнью, а сегодня она снова меня интересуется. Даже очень интересуется! Буду до конца честен. Я узнаю это рассеянное состояние, эту истому и это желание еще раз прокрутить в памяти все слова и умолчания, чтобы ничего не упустить. Я все это уже проходил. Но как давно! В юности, в лицее, в филологическом классе. Моей соседкой по парте была маленькая брюнетка... имени я не помню. У нас был один учебник на двоих, и мы читали, прижимаясь друг к другу плечом. Я никогда не забывал того чувства блаженства, оно было сродни удовольствию, которое испытываешь, сидя у огня перед камином. Это чувство не похоже ни на любовь, ни тем более на страсть — скорее на взаимное притяжение, как у двух зверушек, делящих одну нору.

И причиной тому — фраза Люсиль: «Милое имя. Молодое». Эти простые слова стали спусковым механизмом. Ну же, встряхнись, старина!

За ужином Вильбер внимательно за нами наблюдал. У него безошибочное чутье, вот он и догадался — что-то произошло. Даже пребывая я сам в неведении, отношение Вильбера ясно дало бы понять, что мы с Люсиль заключили тайный союз. Двое против одного. Когда Люсиль предложила ему помощь с лекарствами, он отказался, сухо поблагодарил и удалился раньше обычного.

— Я в чем-то провинилась? — встревожилась Люсиль.

— Все в порядке, не волнуйтесь. Просто вы уделили ему недостаточно внимания. Вильбер, знаете ли, весьма проницателен.

Я принялся описывать характер Вильбера — с былым блеском и остроумием, и мой рассказ явно доставил ей удовольствие.

— Довольно, Мишель! — хихикнула она. — Нельзя быть таким злоязыким.

Она положила руку мне на запястье и тут же отдернула ее, залившись краской.

— Простите, невольно вырвалось, я не хотела фамильярничать.

— Вот и прекрасно! — улыбнулся я. — Я тоже буду обращаться к вам по имени... Люсиль.

Наступила неловкая пауза. Я мысленно обзывал себя последними словами. С какого пыльного чердака явился мой галантный двойник? Как его обуздать? Люсиль отказалась от кофе, встала из-за стола и протянула мне руку.

— Доброй ночи, Мишель. Встретимся завтра в библиотеке, в то же время.

И вот я жду наступления завтра и, конечно же, не усну — даже анисовый отвар не поможет. Не усну и не перестану задаваться вопросами. Я не успокоюсь, пока не выясню причину развода мадам Рувр и природу ее ссоры с Жонкьером. На это уйдет много времени!

Хочу быть уверен, что походя не влюблюсь. Старый дурак! Как будто Арлетт мало меня ранила...

Великий Боже, Эрбуаз! К чему все эти увертки и отговорки? Не притворяйся, что не понимаешь, почему с таким нетерпением ждешь наступления завтрашнего дня!

Клеманс:

— Будь я на вашем месте, мсье Эрбуаз, сходила бы к другому врачу. Вы никак не избавитесь от ишиаса, это ненормально. Сами видите, уколы не действуют. Так недолго и инвалидом стать.

Инвалид — пугающее слово, инвалид, читай — недееспособный. Я возмущенно спорю, как будто, если заставлю Клеманс признать, что она преувеличивает опасность, болезнь отступит. Мне так необходима отсрочка — из-за Люсиль! Я обещаю обратиться к другому эскулапу, и Клеманс хвалит доктора, который пользует Рувра.

— А кстати, как он себя чувствует?

— Не хуже, чем обычно.

Она бросает взгляд на дверь туалетной комнаты, словно подозревает, что председатель мог спрятать там своего соглядатая. Клеманс вообще склонна к тайнственности.

— Здоровым председателя, конечно, не назовешь, — заявляет она, понизив голос, — но он еще и наигрывает, уж вы мне поверьте!

— И зачем бы он стал это делать?

— Как зачем? Чтобы тиранить свою бедную жену! Не хочу наговаривать, но мне иногда кажется, что он ее за что-то наказывает. Некоторые мужчины не умеют прощать.

Последнее замечание Клеманс так меня потрясает, что я решаю перевести все в шутку.

— У вас, как я посмотрю, совсем не осталось иллюзий насчет «сильной половины» рода человеческого?

— Не осталось! И очень давно. Я точно знаю, что мсье Рувр может ходить — когда захочет. Вчера Фернанда видела его в коридоре.

— В котором часу?

— Около половины третьего.

— Я думал, он в это время отдыхает.

— Если и так, никто и ничто не может помешать ему прогуливаться по коридору, когда мадам Рувр уходит.

Все утро я размышлял над словами Клеманс. Жонкьер и Рувры составляли странное трио. Что за драма между ними разыгралась? Если Рувр ревнив, он, должно быть, безумно страдает, когда Люсиль отсутствует. Именно поэтому ему и не сидится в комнате, его гложут мучительные подозрения и тревога, и он, преодолевая боль, ходит по коридору. Или притворяется спящим и следит за Люсиль сквозь ресницы, догадываясь по ее осторожным движениям, что она готовится уйти. Что она наденет? С кем встречается? Что скрывается за идеей обновления библиотеки? Ревность? Как мне это знакомо! Хочется ударить, избить, придушить. О да, мне это знакомо!

Рувр, конечно, не слишком опасен — во всяком случае, физическая угроза от него не исходит. Опасаться следует пронизательности бывшего судьи, его привычки «зондировать» мозги окружающих. Если мы, не приведи господи, встретимся, должен ли я испытать укол совести, почувствовать вину за адюльтер? Я сознательно утрирую, чтобы заставить себя не терять бдительности. Ситуация, увы, безвыходная: ни она, ни я покинуть «Гибискус» не можем. Мы обречены встречаться. Даже если Люсиль попросит пересадить ее за другой стол — что неизбежно вызовет пересуды, — мы будем сталкиваться в лифте, в парке, в коридоре

на нашем этаже, у автобусной остановки, в городе...

Коротко говоря, круг замкнулся. Не только для нас — для всех остальных тоже. В этом доме живут люди, бывшие когда-то в ссоре, помирившиеся и ставшие неразлучными, потом снова отдалившиеся друг от друга, пребывающие в состоянии вечного влечения-отторжения. Никто не может вырваться из плена обстоятельств. Попробуйся я, говоря высоким стилем, «бежать от нее прочь», она этого не поймет, и мы неизбежно рано или поздно встретимся снова. К чему сопротивляться? Конечно, меня влечет к Люсиль. Доказательство? Она не пришла в библиотеку, как обещала, и я промучился всю вторую половину дня, потому что по-прежнему плохо справляюсь с чувствами и оттого уязвим.

Не появилась она и за ужином. Что же случилось? Рувр не отпустил ее в столовую? Я придумываю всяческие объяснения, в этом со мной никому не сравниться. Моя фантазия безгранична. Если Рувру известно, что на самом деле произошло на террасе (а такую возможность исключать нельзя!), им нелегко находиться наедине друг с другом. Насколько же спокойней я чувствовал себя до их появления в «Гибискусе»! Я усыхал, скукоживался от скуки, но в моей жизни не было ни страха, ни тревоги. Я принадлежал себе. Смерть Жонкьера лишила меня главного средства защиты — безразличия. Я снова познаю нетерпение, надежду, ожидание и начинаю ненавидеть Рувра. Глупо до слез!

Сегодняшний день был наполнен разнообразными эмоциями. Не хочу упустить ни одну деталь. В два часа я пришел в библиотеку, приготовил этикетки и начал снимать с полок авторов на «Б». В четверть третьего появилась она.

— Здравствуйте, Мишель. Простите за вчерашний «прогул». Вы, наверное, понимаете, это произошло не по моей вине.

Подтекст ясен: «Мой старикашка вел себя еще невыносимей, чем обычно». Смуты в душе как не бывало. Я весело принимаюсь за работу. Мы классифицируем, клеим этикетки. Мы товарищи. Я хочу, чтобы мы были товарищами — и только. Мы перекидываемся несколькими безобидными фразами, а потом я вдруг настораживаюсь. Открываю дверь. Никого. Прислушиваюсь. Все тихо.

— Показалось, что кто-то прошел мимо, — объясняю я. — Не хочу, чтобы нам помешали.

На ее лице ни тени страха, только искреннее удивление.

— Но кто бы мог прийти сюда?

Я не осмеливаюсь произнести «ваш муж». Все мои страхи и сомнения улечиваются. Я забываю вчерашние терзания. Мы заканчиваем с «В», «С» и «D». На «Е» и «F» писателей нет, можно переходить к «G». Жюльен Грин.^[19] На полке стоит второй том его «Дневника».

— Какая жалость! — восклицает она. — Не могли бы мы купить продолжение? Очень увлекательное чтение.

Увлекательное... Какое банальное слово... Неужто она глуповата? Или это я слишком «филологичен»?

— Буду рад снабдить вас недостающими томами.

— Как чудесно, Мишель, спасибо за предложение.

— Я могу дать их вам прямо сейчас. Идемте. Работа подождет.

Мы едем на лифте вниз. Она стоит так близко, что я мог бы поцеловать ее. Нелепая мысль. Смешная. Сладко-непристойная. Двери открываются, мы выходим, я иду первым, Люсиль следует за мной. У дверей своей квартиры она останавливается.

— Я буду ждать вас здесь, — тихо произносит она.

— Перестаньте! Чего вы испугались?

Возможно, Рувр стоит за дверью. Вдруг он откроет? Она колеблется. Что выбрать — долг или... Или что? Любопытство перевешивает, ей хочется узнать, как я живу, продлить этот миг смятения.

— Только быстро, — шепчет она.

Мы бесшумно открываем дверь, входим, она замирает в центре кабинета, быстро оглядывается.

— Боже, какая чудесная у вас библиотека!

— Идите сюда. Не бойтесь. Мой Грин вот на той полке.

Люсиль рассматривает книги, которые я выбрал в спутники последнего этапа своей земной жизни.

— Вы настоящий интеллеktуал, — произносит она почтительным тоном. — Я довольствуюсь лауреатами года и легким чтивом — Труайя, Сесброн, ну, вы понимаете... О, что это? Эрбуаз?

Она берет в руки два моих романа, открывает на первой странице, читает, не веря глазам: *Мишель Эрбуаз* — и поворачивается ко мне.

— Они ваши?

— Мои. Я написал их очень давно. Мне было... сейчас вспомню... то ли двадцать четыре, то ли двадцать пять лет...

— Могу я их взять?

Она настаивала. Я был счастлив, что меня «разоблачили» безо всяких на то усилий с моей стороны, и не стал играть в скромность.

— Берите. — Я киваю, лучезарно улыбаясь. — Но с одним условием: не давайте читать мужу. Пусть это останется нашей маленькой тайной.

— Даю вам слово, Мишель.

Люсиль взволнована, смущена, благодарна. Она в восхищении от встречи с «живым» писателем. Умерь-ка пыл, старина! Мадам Рувр наверняка повидала других литераторов — дамы из чистого снобизма посещают встречи с авторами бестселлеров и потом стоят в очереди, чтобы получить автограф. Здесь и сейчас я кажусь ей редкой птицей, которая по немыслимому везению вдруг спустилась ей на руку.

— Спасибо, — повторяет она. — Я скоро их верну. Есть и другие?

— О чем вы?

— Неужели вы написали всего два романа?

— Именно так. Не было времени продолжать... работа... обязанности... Придется мне пересказать вам всю мою жизнь.

Я смеюсь — мне весело, в голову приходит мысль: «Не упусти свой шанс: узнав все о твоём прошлом, она будет просто обязана рассказать о себе, и ты все выяснишь... о Жонкьере!»

Я провожаю Люсиль до двери, целую ей кончики пальцев — по-дружески.

— До завтра?

— До завтра, — отвечает она.

— Обещаете?

— Обещаю.

Она появляется за ужином, одетая в простое платье, с бриллиантами в ушах. Вильбер

дугается — он перехватил «особую» улыбку, которую адресовала мне Люсиль. Я чувствую его досаду. Разговор за столом получается рваный. Люсиль неосмотрительно называет меня по имени, и Вильбер окидывает нас подозрительным взглядом. Я незаметно толкаю Люсиль локтем. Не скажу, что мы настроены проказливо, скорее, чувствуем себя сообщниками. Вильбер глотает свои пилюли и удаляется. Мы облегченно смеемся.

— Я допустила промах, да? — спрашивает она. — Ну и пусть! Я не обязана ему отчетом. Знаете, Мишель, я начала читать вашу книгу — «Наблюдателя», правда, прочла всего сорок страниц — Ксавье то и дело отрывал меня...

— Вам понравилось?

— Очень.

— Спасибо.

— Почему вы бросили писать?

Я заказываю два кофе, чтобы обдумать ответ. Буду предельно честен. Правда, и ничего, кроме правды.

— По трусости. Я считал литераторство божественным ремеслом. Мне хотелось разбогатеть, и я преуспел. Заработал очень много денег, что не мешает мне стариться с пустыми руками.

Она соскребает краешком ногтя какое-то едва заметное пятно со скатерти и задумчиво повторяет: «С пустыми руками!» Не стану произносить избитую фразу об обломках кораблекрушения, она не этого ждет. Люсиль не была бы женщиной, если бы не хотела узнать все о моих любовных приключениях, и я бросаюсь головой в омут.

— Я был женат, как и все. Мою жену звали Арлетт.

— Она была хороша собой?

— Думаю, да.

Люсиль отвечает нервным смешком.

— Но вы не уверены. Мужчины странные существа. Что дальше?

— У меня был сын. Он не захотел работать со мной и стал пилотом «Эр Франс». Я много ездил. Он летал по миру. Потом мы окончательно потеряли связь друг с другом. Он женился в Буэнос-Айресе и вскоре погиб, оставив вдову и маленького сына, Хосе Игнасио.

— Как это печально, мой бедный друг! Наверное, вы нашли утешение в общении с внуком?

— Я никогда его не видел. И незнаком с его матерью. Они живут в Аргентине. Время от времени, очень редко, я получаю от него письма.

— Сколько лет Хосе Игнасио?

— Он родился в пятьдесят втором, значит, сейчас ему двадцать шесть. Внук не балует меня своим вниманием, я даже не знаю, чем он занимается.

— А ваша жена?

— Она меня оставила. Без предупреждения.

— Мне очень жаль...

Я положил ладонь на ее руку — нужно было пользоваться моментом.

— Жалеть не о чем. Все давно в прошлом. Я излечился. И больше ничего не жду.

Фразы такого рода всегда достигают желаемого эффекта. Люсиль кидается меня спасать.

— Не говорите так! — восклицает она. — В конце концов, жизнь не похожа на жестокую мачеху. С вашим талантом нельзя предаваться подобным мыслям.

— Я больше не испытываю желания писать. Зачем? Для кого? У меня даже друзей не

осталось.

Я бросаю на нее незаметный взгляд. Как она отреагирует? Люсиль краснеет.

— Вы не слишком любезны, — с укором в голосе тихо произносит она. — Мы не так давно познакомились, и все-таки я чуточку больше, чем соседка по пансиону! Я ваша читательница. Разве это ничего не значит?

Нужно немедленно развить преимущество — ради достижения цели можно сдобрить искренность капелькой лжи.

— Простите, моя дорогая! Ваша дружба очень важна для меня. Позвольте сделать признание... я уже несколько дней не чувствую себя несчастным — по очень глупой причине... Здесь никому не было до меня дела... а потом появились вы. Любой, даже самый маленький знак внимания способен привнести свет в жизнь человека моего возраста.

Она отвечает — не сразу, и ответ дается ей непросто:

— Я понимаю... Если бы вы только знали, как я вас понимаю! Вы очень точно подметили — насчет простого знака внимания...

Ее голос дрожит, она не может закончить. Резко встает, хватая сумочку и выбегает. Готов поклясться, что в лифте она плачет, и эта мысль доставляет мне удовольствие. Я «попался», но и сам не упустил добычу. Нам не нужны ни признания, ни прочая дребедень, которая обычно предшествует роману. Ах, Люсиль, как это чудесно, когда вам идет семьдесят шестой год! И как ты была права, избавившись от Жонкьера и одновременно избавив меня от моих фантазий! Смерть одного вдохнула жизнь в другого. Нам придется опасаться Рувра. И пусть мы можем себе позволить самую малость — несколько взглядов за столом, пару фраз под неусыпным оком Вильбера, одно-другое свидание в библиотеке или где-нибудь еще, — для нас все равно начинается новая жизнь. Я прощаю тебе все и сразу, дорогая Люсиль. Милая моя Люсиль. После стольких лет безнадежного воздержания я имел полное право упиваться словами, пьянеть от нежности! Да здравствует грядущая бессонная ночь. Я открыл выходящее в сад окно, и звезды остудили мой разгоряченный лоб.

09.00.

Я счастлив!

18.00.

Я счастлив!

22.00.

С чего начать? Мне так много нужно сказать, но я не тороплюсь и все хожу и хожу по комнате, не обращая внимания на пульсирующую боль в бедре. Мне трудно усидеть на месте. Я снова чувствую себя двадцатилетним и задыхаюсь от радости, восторга, возбуждения жизненных сил. Так дальше продолжаться не может — мой организм этого не выдержит. Я просто обязан соблюдать строгую писательскую дисциплину, рассказать обо всех событиях последовательно.

Первое воспоминание — самое волнующее. Я был в библиотеке. Ждал, снедаемый мучительным страхом, забыв о пятидесяти годах пустых забот, бессмысленных обязанностей, успеха, печалей и безропотного смирения. Она вошла. Остановилась, и мы посмотрели друг другу в глаза. О, что это был за взгляд! Никогда его не забуду. Я сделал два шага по направлению к ней, и все смешалось. Помню только, что обнимал Люсиль,

зарывшись лицом в ее волосы, а она шептала срывающимся голосом:

— Ах, Мишель! Что с нами происходит?.. Что происходит?..

Воспоминание номер два — поцелуй. Оно и сейчас вызывает у меня растроганную улыбку. Этаким «подростковый» поцелуй — в висок, в щеку, благопристойный поцелуй, благоуханный, сулящий — потом, когда-нибудь — лобзание в губы.

— Я должна немедленно сесть, Мишель. Ноги меня не держат.

Я хватаю стул. Помогаю ей сесть.

— Закройте дверь, умоляю, — шепчет она. — Так мне будет спокойней.

Я дважды повернул ключ в замке и вернулся к ней. Мы чувствовали себя неловкими, нами овладела робость. Боялись заговорить, разрушить каким-нибудь словом то, что между нами родилось. Я пока не понимаю, что это за чувство, но оно огромное и хрупкое, полуулыбка-полуплач. Я сидел на краешке стола и обнимал ее за плечи. Нам требовался тактильный контакт, чтобы пережить несколько ближайших минут и плавно перейти от экзальтации к нежной дружбе, нам дано ощутить горячку страсти, но мы слишком стары, чтобы быть наивными. Некоторых жестов и слов следовало избегать. Требовалось изобрести своего рода очарованную улыбку. Она протянула ко мне руку.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

— Мишель! Разве это возможно... Все случилось так быстро! Получается, мы оба были глубоко несчастны! Что вы обо мне подумаете?

Я сжал ей руку, чтобы успокоить, и прошептал в самое ушко:

— Не тревожься, моя милая Люсиль.

Обращение на «ты» поразило ее. Она откинула голову, чтобы видеть мое лицо. Я рассмеялся открытым, искренним смехом, желая прогнать все ее сомнения.

— Любовь — веселая тайна. Нужно принимать ее как дар и не терзаться пустыми сомнениями. Вас тревожат мысли о муже? Так давайте поговорим о нем. И уничтожим прошлое.

И вот, наконец, последнее воспоминание: разговор, который временами напоминал исповедь.

— Я выходила замуж дважды.

— И оба раза неудачно, не так ли?

— Да. Спасибо, что поняли. Моим первым мужем был... нет, вы не поверите...

— Ошибаетесь. Это был Робер Жонкьер.

— Вы дьявол! — восклицает она.

— Дьявол, — весело соглашаюсь я, — дьявол, заглянувший в «Кто есть кто».

Продолжайте, прошу вас.

— Робер... Вы успели узнать его... Я жестоко ошиблась, выйдя замуж за этого человека.

— Вы его любили?

— Конечно, любила... Но чувство быстро прошло. Потом началась война, и появился повод для развода. Робер не упустил возможности нажить деньги, торгуя на черном рынке. Он спекулировал зерном и действовал очень ловко, умел угодить всем. Я была в курсе и после освобождения предложила ему сделку: или ты соглашаешься на мои условия, или я на тебя доношу.

— Вы бы это сделали?

— Без колебаний. У меня не такой уж и покладистый характер.

— Я это запомню.

— Не беспокойтесь, Мишель, вам я доверяю! Нас развели, и он взял вину на себя, хотя после суда посмел мне угрожать. Знаете, как это бывает: «Ты еще обо мне услышишь! Я не забуду и не прощу!..» — и много разных других слов. Мы совершенно потеряли друг друга из виду, и через несколько лет, в доме моих друзей, я познакомилась с Ксавье.

— И влюбились с первого взгляда? — натужно пошутил я.

— Нет, все было совсем не так. Ксавье хотел на мне жениться, был очень настойчив, и я уступила, хоть и не сразу. Он оказался ужасно ревнивым и очень скоро сделал мою жизнь невыносимой. В суде Ксавье часто выносил обвинительные приговоры ревнивцам, но сам был куда хуже тех, кого отправлял в тюрьму.

— Бедная вы моя... Он знал о Жонкьере?

— Естественно. Я ничего от него не скрыла, и Робера он ненавидел особенно сильно. Сами понимаете, что я испытала, встретившись в «Гибискусе» с бывшим мужем.

— Вы ничем себя не выдали.

— Я сдержалась, но чувствовала себя просто ужасно. Сначала у меня теплилась надежда, что Робер перестал питать ко мне жгучую злобу, ведь прошло так много лет! Увы, я ошибалась. Он подкараулил меня в парке и устроил отвратительную сцену, заявил, что желает встретиться с Ксавье.

— Но зачем?

— Я даже вообразить себе этого не могу, но он поставил меня в чудовищное положение! Все это так мучительно, Мишель, давайте сменим тему! Я не хочу омрачать паше общение.

Она вдруг откинулась назад, ее лицо оказалось совсем близко, мы поцеловались, но носы так нам мешали, что это вызвало дружный веселый смех.

— Боже, до чего мы неловкие! — сказал я. — Вот что значит отсутствие практики. Ничего, все получится, давайте повторим.

На сей раз все действительно получилось, и второй поцелуй вышел потрясающим. Еще месяц назад я посмеялся бы над собой, вообразив — только вообразив! — подобную сцену. Скажу больше: я бы назвал себя старым дураком, но теперь крепость пала. Да, я выставлял Рувра тираном, ронял собственное достоинство, вел себя как неразумный мальчишка, но мне было плевать. Я ощущал внутри себя токи жизни. Был первым мужчиной на Земле, обнимающим первую женщину. Люсиль отодвинулась, взглянула на часы и ойкнула.

— Боже, уже двадцать минут четвертого! Я должна бежать. Прогоните меня, Мишель, сама я не уйду.

Я держал зеркало, пока она подкрашивала губы и пудрила носик, как сделала бы в спальне, наедине с любовником, а потом стерла остатки помады с моего лица.

— Завтра, здесь же, — сказал я.

— Постараюсь, но ничего не обещаю. Вы же знаете, я от себя не завишу.

Я обвел взглядом комнату. Обстановка была убогой — простые деревянные стеллажи и плетеные стулья, купленные на какой-нибудь распродаже.

— Не самое уютное место, — улыбнулась Люсиль, — но оно наше.

Я почувствовал в ее словах оттенок горечи, ободряюще улыбнулся и вышел следом.

— Спасибо за подаренную радость, Мишель. Я, пожалуй, пропущу ужин — иначе все заметят, как я счастлива. Верно?

— Еще как верно!

— Не пугайте меня... Он ничего не заподозрит?

— Конечно, нет. Идите с миром и ничего не бойтесь... девочка моя.

Она послала мне воздушный поцелуй и быстро пошла к лифту. Я чувствовал себя таким усталым и старым, что даже пробормотал: «Остановись! Все это тебе больше не по силам!»

Я вернулся к себе, тяжело приволакивая ногу, решил, что тоже не пойду ужинать, сел и тщательно записал наш разговор. Когда речь зашла о Жонкьере, Люсиль решила сменить тему. Все ясно как божий день. Но мне нет дела до смерти Жонкьера. Главное, что она меня любит!

Я в который уже раз не смогу заснуть. Как интерпретировать слова Люсиль? Я принимаюсь, тыкаюсь в них носом, как старый недоверчивый лис. Виновна? Невиновна? Не могу решить. Председатель наверняка изрек бы: «Признана виновной!» Я же заявляю: «Оправдана, ибо сомнения толкуются в пользу обвиняемого!»

Где-то звенит звонок. У меня так натянуты нервы, что слух обострился до предела. Возможно, председателю понадобились услуги Клеманс. Если он, не дай бог, совсем сляжет, я лишусь общения с Люсиль и моя и без того нелепая жизнь станет совсем невыносимой. Да, именно так. Я храбрился и сам не понимал, как сильно боюсь смерти. Боюсь настолько, что готов ухватиться за соломинку. Любовь? Ладно. Почему бы и нет? Наступает «час волка», когда любая мысль причиняет боль. Я выдохся, но не могу оторваться от своего дневника. Что нам сулит будущее? Бог весть... лучше об этом не думать.

09.30.

Клеманс:

— Вы сегодня бодро настроены, мсье Эрбуаз. Не то что этот бедняга Вильбер. Язва совсем его замучила. Сегодня ночью он снова меня вызывал. Я все время повторяю: «Знаете, мсье Вильбер, вам станет легче, если перестанете травить себя тоннами лекарств!» — да где там... Он ведь упрям как осел, тут уж ничего не поделаешь. Между прочим, мсье Вильбер в ужасных отношениях с сыном — если его можно так назвать! — тот вечно приbedняется, клянчит деньги... Раньше старики — к вам это не относится, мсье Эрбуаз! — были куда счастливей, потому что никто не пытался искусственно продлевать им жизнь, а теперь их превратили в идиотов.

Когда Клеманс так расходится, лучше ее не перебивать, но сегодня она меня раздражает. Я жажду остаться в одиночестве и начать избывать мертвое время, оставшееся до вечера. Состояние глухой безнадежности, в котором я так долго пребывал, было по большому счету куда менее мучительным, чем сегодняшнее лихорадочное ожидание. Я пытаюсь вспомнить, что чувствовал перед свиданиями с Арлетт, и мне кажется, что тогда все было иначе. Начнем с того, что между нами никто не стоял. Арлетт не была запретным плодом. Я наслаждался восхитительным ощущением свободы. Моя любовь была мирной, удобной, полной уверенности в завтрашнем дне. А вот с Люсиль...

Нет, смерть не гонится за мной по пятам, но срок уже отмерен, а я глупо, попусту трачу бесценные часы и хожу по кругу в ожидании момента, когда смогу снова обнять ее. Едва сойдемся, мы снова расстанемся, и так будет завтра и послезавтра... час в оазисе любви и двадцать три — в безводной, безжизненной пустыне разлуки!

Вектор моего внутреннего бунта изменился — его провоцирует не скука, а нетерпение, — но суть осталась той же: я никогда не признаю себя стариком!

22.00.

Она пришла. Мы не работали. Сидели, держались за руки и много говорили. Наше прошлое было первым взаимным даром. Возможно, каждый слегка приукрасил свое, чтобы сделать его более ценным. Мы поведали друг другу о наших разочарованиях и страданиях, и в этом была доля самолюбования, как если бы лукавая судьба уберегла нас от испытаний, чтобы отдалить триумфальную коду. Любовь подобна поиску Грааля — даже в том случае, когда доблестный рыцарь вместо копья опирается на трость!

Радость узнавания любимой женщины... Ты слушаешь, угадываешь некоторые черты ее характера. Она в отличие от меня не склонна к самоанализу и бесконечному самокопанию. Она прямая, энергичная, простая и резкая. Я — третий мужчина в ее жизни, *тот самый мужчина!* Ее женский ум занят конкретным делом — она решает, как наилучшим образом организовать нашу жизнь. Этот маленький зал нужно будет в самом скором времени открыть для посетителей. Мы не сможем затянуть работу по упорядочиванию и классификации книг. Так где же мы будем видеться? Уж точно не в пансионе, об этом и речи быть не может! Значит, в городе? Не займусь ли я поиском какого-нибудь маленького кафе или чайного салона, где бывают в основном туристы?

«Главное для меня, чтобы мы виделись каждый день». Она сумеет высвободить время. Если понадобится, «скормит» своему церберу снотворное.

— Он и так его принимает, — замечаю я.

— Я удвою дозу, — обещает Люсиль.

Она, конечно, преувеличивает, чтобы доказать мне свою любовь. Я тороплюсь внести коррективы: не стоит, мы должны быть осторожны, чтобы муж ничего не заподозрил.

— Хорошо, что у вас хватает благоразумия на нас двоих. По-моему, я заслужила поцелуй, Мишель, — в качестве компенсации.

Она жаждет ласк, как женщина, которой долго пренебрегали. А я?.. Что ощущаю я? Былые чувства вернулись, хотя пыла в них, конечно, поменьше. Тело Люсиль осталось гибким и упругим, я нежно обнимаю ее за тонкую талию, но пока не решаюсь даже подумать, что эта женщина принадлежит мне. Не стоит торопиться, пусть отношения развиваются неспешно. Я старомоден и не готов нарушать приличия... без внутренней борьбы. Ее поцелуи волнуют меня, они чисты, даже наивны, в них есть юная самозабвенность. Я почти готов взмолиться: «Не так быстро! Я за вами не поспеваю!» Час пролетел, как единый миг, нам пора расставаться. Мы на пять минут возвращаемся к работе над каталогом, целуемся и «надеваем» на лица благопристойно-непроницаемое выражение.

— Я нормально выгляжу?

— Безупречно!

Можно появляться на людях. К нашему живейшему удовольствию, Вильбер к ужину не выходит. Мы сидим за столом, и самые простые слова и обыденные фразы наполняются тайными смыслами, сквозь банальности проступает нежность. Мы обсуждаем новую пансионерку, занявшую покой Жонкьера. Миссис Алистер привезла с собой три чучела кошек и дни напролет с ними беседует.

— Боже, как мне жаль всех этих несчастных, — вздыхает Люсиль. — Страшно подумать, что и мы могли бы уподобиться им, если бы...

Она накрывает мою руку ладонью, шепчет: «Спасибо, Мишель» — и заводит разговор о сестре, которая живет в Лионе, и брате — он инспектор почтового ведомства. Я начинаю представлять себе окружение Люсиль, хотя «темные места» еще остаются, как на снимке в ванночке с проявителем... Она пока ни слова не сказала о своем раннем детстве. Я должен

знать о ней все, чтобы заполнить долгие часы одиночества. Скарлатина и свинка интересуют меня ничуть не меньше ссор с Рувром. Я тороплюсь завладеть мыслями и воспоминаниями Люсиль и открыто заявляю о своих претензиях.

— Я вся в вашей власти, Мишель.

Смысл фразы совершенно ясен. Я глажу ее запястье, давая понять, что все понял и очень тронут. Это чистая правда. Впечатления последних дней очень меня утомили. Я запиваю таблетку нембутала анисовым отваром, чтобы спокойно и крепко проспать всю ночь. Любовь подобна большому псу, которого время от времени нужно вышвыривать за порог.

Я четыре дня не открывал эту тетрадь! Чем я занимался? Искал кафе, маленький бар, тихое тайное место, где мы могли бы встретиться. Расположенное не слишком далеко от «Гибискуса», чтобы она не тратила попусту время. Но и не слишком близко, чтобы избежать риска случайной встречи с пансионерами. Я не без труда нашел небольшое старомодное бистро с четырьмя столиками, скрытыми за кустами бересклета. В зале темно и тихо, нет ни музыкального автомата, ни радио. Пожилая дама вяжет за стойкой. Мы сходили туда, и все вышло ужасно! Мы чувствовали себя, как пассажиры в ожидании поезда, не знали, о чем говорить, вздрагивали всякий раз, когда кто-то проходил мимо двери. Страх быть застигнутыми врасплох леденит кровь. Требовалось найти другое решение. Я должен во что бы то ни стало придумать иной способ, а это не так-то просто.

Библиотека? Послезавтра она будет открыта для посетителей с трех до четырех дня. Мы рассортировали книги, я купил несколько новинок, а значит, свиданий в библиотеке мы устраивать не можем. Я не смею звать Люсиль к себе — не хочу ее компрометировать. Отель? Ни в коем случае. Все приличные отели расположены на приморском бульваре, в самом людном месте города. Не стоит забывать и о приличиях: Люсиль достойная женщина, и я просто не могу повести ее на час «в номера», как какую-нибудь дешевку! Мне не хватит духу собрать чемодан и снять номер, чтобы назначать там свидания Люсиль; номер в отеле подразумевает интимную связь. Отвратительное выражение, но за неимением другого...

К чему лукавить, почему бы не назвать вещи своими именами? Правда в том, что мне становится дурно от одной только мысли о том, что придется раздеваться в ее присутствии. Снимать брюки, морщась от боли в ноге. Хорош любовничек — шепчет слова любви, а сам прислушивается, не кольнет ли сердце! На расстроенной скрипке сонату не сыграешь. Я уж точно не сыграю — слишком боюсь показаться смешным, хотя не сомневаюсь, что Люсиль не только охотно согласилась бы на встречи в гостинице, но и не поняла бы моих терзаний, имей я глупость признаться. Она могла бы решить, что я питаю к ней куда менее пылкое чувство, чем она ко мне. Я слишком самолюбив и ни за что не признаю ее правоту. Трудно, да что там — невозможно! — объяснить женщине, что в определенный момент разница в возрасте оборачивается разницей в накале страсти. Люсиль мне нравится, она трогательная, я все время о ней думаю. Эта женщина — последняя радость, которая осталась мне в жизни, но на большее я не претендую. Думаю, она не хочет, чтобы нас видели вместе, потому что уже чувствует себя моей любовницей. Сколько времени прошло со дня смерти Жонкьера?.. Быть того не может! Всего ничего, а наши отношения уже напоминают роман. Сам не знаю почему, но меня это смущает. Ну вот, я снова блуждаю по лабиринту мучительных и пустых размышлений. Продолжу завтра, если хватит мужества!

Перечитываю написанное. Мужество мне изменило, и за последнюю неделю я не написал ни строчки. Мы видимся урывками. Несколько минут в библиотеке, но на безопасном расстоянии друг от друга: обитатели «Гибискуса» приходят взглянуть на новинки и не упускают случая поговорить, они многословны, неутомимы и способны часами переливать из пустого в порожнее. Несколько минут вечером, за ужином. (Вильбер снова выходит к столу. Он похудел, но характер у него не улучшился.) Пару раз мы встречались в парке, вздрагивая от каждого шороха, как в непроходимых джунглях. Меры

предосторожности кажутся мне излишними, но ведь Рувр ужасно подозрителен! Люсиль рассказала, что он уже спрашивал, не собирается ли она оставить работу библиотекаря.

— Я начинаю от него уставать, — говорит она, с трудом сдерживая раздражение. — Жена должна посвящать себя мужу, но всему есть пределы.

Вчера утром я получил записку: «В десять вечера, на террасе. Буду, если смогу». За ужином она не появилась.

Почему она назначила встречу на террасе? Место выбрано с умом, но ведь с ним связаны невыносимо тяжелые воспоминания. Очевидно, поэтому она в последний момент передумала и не пришла. Я стоял у балюстрады (ее надстроили, чтобы исключить возможность несчастного случая), смотрел на звезды и предавался мечтам о любви. После того как отпали библиотека, парк, кафе и отель, единственным местом встречи остался пляж. Кто заметит нас среди курортников? Два шезлонга, зонт — и вот мы уже просто пара отдыхающих. Ни один постоялец «Гибискуса» не рискнет появиться в этом «грязном» месте, где «растленные» женщины выставляют напоказ обнаженную грудь... Боже, я заговорил языком старых пансионеров! Чувство юмора мне пока не изменило, я умею ненадолго отстраниться от счастья и посмотреть на ситуацию с улыбкой.

Свершилось! Свидание на пляже состоялось. Вчера. Мы оказались в весьма странном положении, и это еще слабо сказано. Позавчера я воспользовался минутой, предоставленной нам Вильбером за десертом — он всегда выходит из-за стола первым, — и пригласил Люсиль на пляж. Сначала она не выказала особого энтузиазма, сочтя, что риск слишком велик, но потом сообразила, какие преимущества оно нам сулит, и согласилась.

Буду краток. Свидание назначено на четыре. Предлог: визит к дантисту. Рувру придется смириться. Его честь, конечно, может позвонить секретарше и проверить, действительно ли его жена записана на прием, но Люсиль считает, что он не посмеет. Мы веселимся, как дети, которым пообещали приключение. На пляже шумно, люди купаются. Я взял два шезлонга, купил фруктовых соков и ждал. У меня сосало под ложечкой от страха, что ничего не выйдет. Люсиль появилась неожиданно, на ней было легкое яркое платье. Она опустилась в шезлонг рядом со мной, и мы долго сидели молча, а над нами, вокруг нас разносился звук чужих голосов, детские вопли, плеск воды. Я вспомнил песню «Влюбленные одни в целом свете» и нежно взял Люсиль за руку.

— Все хорошо?

Она повернулась на бок, и я увидел мученическое выражение ее лица.

— Что стряслось? Он устроил вам сцену? Вы поспорили?

— Нет.

— Так в чем же дело?

Она закрывает глаза. Я крепче стискиваю ее пальцы.

— Не хотите говорить?

— Я не смею.

Она чувствует мое беспокойство и приподнимает веки. Мокрые ресницы дрожат, глаза тусклые.

— Вы плачете?

— Нет.

— Ну же, Люсиль, расскажите мне все, и вам станет легче.

Она не отвечает, как будто не решается сделать трудное признание. Придвигается еще

ближе, и я чувствую на губах ее дыхание.

— Мишель... Пообещайте, что не рассердитесь.

— Обещаю.

— Я хотела бы стать вашей... принадлежать вам... хоть один раз... чтобы нам обоим было легче переносить такую жизнь... чтобы между нами образовалась неразрывная связь... Мне трудно выразить чувства словами, но я уверена, что вы понимаете... Если мы этого не сделаем, вы быстро от меня устанете.

Она смотрит не меня, и я читаю в ее глазах тревогу.

— Я не хочу вас потерять! Я понимаю, как это выглядит, Мишель, понимаю, что вешаюсь на вас, но ничего не могу с собой поделать. Я люблю вас. Прошу, не отталкивайте меня.

— Боже мой, Люсиль... Как вы могли подумать, что я... Если бы вы знали, как часто я о вас думаю!

Меня терзают сомнения. Вокруг нас, в слепящем свете летнего солнца, продолжается праздник вырвавшихся на свободу тел. Что, если у нас еще есть шанс — пусть и самый ничтожный — поучаствовать в нем? Я кладу руку на бедро Люсиль, надеясь, что в моем жесте нет ничего двусмысленного.

— Люсиль, дорогая... Придвинься ближе.

Мы касаемся друг друга лбами.

— Вот что я скажу... мы не дети... мы много раз занимались любовью... часто из любопытства, по привычке... и даже из чувства разочарования... Так?

Она кивает.

— Ты наверняка замечала... Это ничему не помогает, не решает проблем, не снимает сомнений... человек, дарящий наслаждение, запросто может предать тебя на пике этого самого наслаждения... Верно?

— Да.

— Знаешь, почему так происходит? Просто люди не умеют говорить о любви. Любовь — это сражение. Не обмен. Во всяком случае, в молодости. Но мы, Люсиль, что нам мешает говорить о любви... здесь и сейчас... Поверь, говорить о любви еще приятней, чем заниматься любовью.

Она отстраняется, чтобы взглянуть на меня и понять, насколько я серьезен.

— Да-да, Люсиль, я не шучу! Близость есть нечто гораздо большее, чем слияние тел. Это... да... близкие люди не чувствуют стеснения — ни физического, ни душевного... Ну вот, я скатился в *литературицу*... Но ты ведь понимаешь, правда?

Она смотрит на меня, не отводя взгляда. Ее глаза напоминают звезды, в них плещется огонь. Мне вдруг становится стыдно: оберегая свое потрепанное годами мужское самолюбие, я злоупотребляю ее доверием, хоть и не лукавлю.

— Наверное, ты прав, — тихим голосом произносит она.

Я хочу возразить: «Не так уж я и прав...» — и в это самое мгновение на меня обрушивается водопад эротических видений. Боже, как хочется снова стать тридцатилетним и не обременять себя разговорами! Но я вынужден вернуться к роли благоразумного старика, впавшего в нежность, как другие впадают в детство. Она снова смеется.

— Мишель, дорогой мой, чудный мой Мишель! Ты и вправду особенный. Расскажи мне еще о любви!

И я рассказываю! Рассказываю! И в конце концов убеждаю себя, что очень силен и

ловок. Мы прижимаемся друг к другу — неудовлетворенные, попавшие в ловушку слов, забываем, где находимся, и выныриваем из забытья в половине шестого. Люсиль вскакивает, быстро приводит себя в порядок, готовая сорваться с места.

— Ну и достанется же мне на орехи, — произносит она, сконфуженно улыбается, как застигнутая на месте преступления девочка, наклоняется и целует меня в лоб. — Оставайся, мой милый романист. Мой бумажный любовник!

Я приподнимаюсь на локте и смотрю ей вслед. Что это, насмешка? Нет. В ее словах не было иронии, она всего лишь констатировала факт: моя любовь — это любовь писателя, чистой воды умствование, и ее это удивляет и трогает. Я потерпел неудачу и чувствую привкус горечи. Попробуйся я описать случившееся во всех подробностях — не уверен, что мне бы это удалось! — вряд ли сумел бы скрыть привкус фальши. Притворяться бессмысленно! Я уклонился — и точка! Испугался! Но чего, черт возьми? Осложнений? Они маловероятны. Скорее всего, я давно утратил связь с реальностью, с подлинными чувствами и просто не способен испытывать настоящую любовь. Возможно, я выдумал свою любовь к Люсиль. Кто знает...

На пляж мы не вернулись, но встретились в городе, как два фланера на прогулке. Встретились, прошли часть пути вместе — что может быть естественней? Приличия не нарушены, мы шагаем рука об руку и вроде бы обмениваемся самыми что ни на есть невинными репликами. Мы проходим несколько сотен метров, не больше, и играем в игру в близость. Главное правило: говорить обо всем, ничего не утаивая. Она рассказывает о ревности Рувра, о его грубости и вспышках ярости, о былых сексуальных притязаниях. Время от времени я задаюсь вопросом, уж не намеренно ли она вгоняет меня в краску? Довольно скоро наша игра приобретает выраженный оттенок порочности. Я постепенно узнаю новую Люсиль — сентиментальную реалистку, мстительную — ох, какую мстительную! — хитрую и изворотливую, одним словом, женщину, с которой нельзя не считаться.

Мы обмениваемся прощальным рукопожатием. «Я люблю тебя, Мишель». — «Я тоже, Люсиль». Никто бы не догадался, что наши вежливые улыбки суть поцелуи.

За ужином игра продолжается — на глазах у Вильбера. Похоже, Люсиль нравится ходить по краю. Ее рука касается моей. Она ищет ногой мою ногу под столом. Это нелепо, смешно... Люсиль переигрывает. Думаю, она не очень поняла то, что я пытался объяснить ей на пляже, и старается понравиться мне, проявляя излишнее усердие, как посредственная ученица.

Однажды я спросил себя: «Что, если она права? Что, если я от нее устану?» Что же, соберу вещи и приищу другое убежище!

Произошла КАТАСТРОФА! Вильбер застал нас с Люсиль. Сегодня в библиотеке было много посетителей. Люсиль записывала фамилии в журнал, я находил на полках нужные книги и выдавал их. В 16.10 мы наконец остались одни, пора было закрываться.

— Извини, Мишель, я спешу... — сказала Люсиль.

— Ксавье?

— Он... Поцелуй меня, Мишель, иначе я не справлюсь.

Я обнял ее, спиной почувствовал, как открывается дверь, и услышал голос Вильбера:

— О, простите...

Мы отпрыгнули друг от друга, Вильбер захлопнул дверь, и бежать следом было глупо, это

только усугубило бы ситуацию. Люсиль смертельно побледнела и без сил опустилась на стул.

— Весь дом узнает, — прошептала она.

Я тоже очень удручен. Она права, Вильбер всех оповестит — в своей обычной манере, плотоядно подхихикивая. Узнает Франсуаза... потом Клеманс... наши соседи и соседи наших соседей.

— Он может «наябедничать» Ксавье.

— Но ведь твой муж никого не принимает.

— Зато получает почту. Достаточно анонимного письма или телефонного звонка.

Я не соглашаюсь. Вильбер, конечно, человек злоязыкий, но он не доносчик... Люсиль меня не слушает.

— Ужасный тип! — восклицает она. — Как, ну как нам заставить его молчать?

— Хочешь, я объясню ему...

— Что?! — раздраженно вопрошает Люсиль. — Что ты хочешь объяснить этому человеку, о чем можешь его попросить? Не смей!

— Не сердись.

— Я не сержусь. Только...

— Что — только?

Она пожимает плечами, хватая сумочку и почти бежит к двери.

— Люсиль... Ничего непоправимого пока не произошло... я...

Она выходит.

Я ужинал один. Ни Вильбер, ни Люсиль не появились. Этот идиотский случай не имел бы никаких последствий, будь мы молоды, но в нынешнем нашем сообществе слухи распространяются, как ядовитый газ. Есть не хочется. Меня терзает ужасное чувство вины. Страх наказания. Кажется, я вот-вот лишусь чувств. Мне следовало бы посмеяться над случившимся. Я старик, какое мне дело до сплетен! Пусть говорят, что хотят — за спиной или в лицо. Заткнуть рты сплетникам можно единственным способом — избегать Люсиль, порвать с ней. Я уверен, она думает так же. Есть другой способ — удавить Вильбера. Третьего не дано.

Печальный день. Я наблюдал за Франсуазой — она ничего не знает. Клеманс сегодня не приходила: курс уколов закончен, особого облегчения они не принесли. Я ходил по парку. Поговорил с генералом, он все еще носит с проектом мастерской. Мадам Вертело долго жаловалась мне на ревматизм и порекомендовала своего иглоукальвателя. Я встретил в аллеях нескольких пансионеров, и ни один не обернулся мне вслед. Итак, пока все спокойно. Вильбер, безусловно, не станет отводить в сторону всех и каждого, чтобы поделиться пикантной новостью. Известие будет распространяться медленно, и, если мы с Люсиль поведем себя правильно — то есть холодно, — люди решат, что Вильбер ошибся и в очередной раз углядел то, чего не было.

Мы не станем рвать отношений, в этом нет необходимости. Нам следует реже встречаться, и это даже хорошо — излишняя Люсиль пугает меня. Но я не могу обойтись без наших любовных разговоров, они разогревают мою стариковскую кровь. Решено — осторожность и еще раз осторожность. Я обедал в гордом одиночестве. Ужинал один. Вильбер и Люсиль не хотят новой встречи, обоим нужно решить, как себя вести. Я пока не знаю, чего ждать.

09.15.

Я едва могу поверить в случившееся. Вильбер мертв. Я узнал об этом меньше часа назад. Я потрясен.

15.00.

Я возвращаюсь к своим записям. Хочу привести мысли в порядок. Все случившееся выглядит очень странно.

Сегодня утром Франсуаза обнаружила тело. В 08.30 она, как обычно, принесла Вильберу поднос с завтраком: чай, молоко, тосты и джем... Постучала. Не дождавшись ответа, открыла своим ключом. Вильбер лежал на коврик у кровати. В луже крови. Простыня и одеяло тоже были в крови. Резня, бойня! Обезумевшая Франсуаза помчалась к директрисе, решив, что Вильбера убили.

Мадемуазель де Сен-Мемен вызвала доктора Верана, и тот вынес вердикт: Вильбер умер от внутреннего кровотечения, вызванного передозировкой пендиорила. Он регулярно принимал этот антикоагулянт по назначению кардиолога, должен был соблюдать крайнюю осторожность из-за язвы желудка, но, к несчастью, превысил дозу. Откройся язва в тот момент, когда Вильбер был не один, его бы попытались спасти, хотя остановить кровотечение можно, только захватив его в самом начале. Риск увеличивается в момент переваривания пищи, а Вильбер после обеда всегда отдыхал и был один, как и после ужина.

— Смерть Вильбера не была скоростижной, не так ли, доктор? — спросил я, встретив Верана в холле. — Бедняга мог дотянуться до звонка и вызвать Клеманс.

— Не торопитесь с выводами, мсье Эрбуаз. Нужно принять во внимание, что мсье Вильбер был очень ослаблен болезнью. Я практически уверен, что он потерял сознание и просто не успел позвать на помощь. Почувствовал головокружение, попробовал подняться и без чувств рухнул на пол.

— А если бы Клеманс все-таки пришла?

По лицу доктора Верана я понял, что он считает случай безнадежным, но по дипломатическим соображениям не хочет произносить сакраментальных слов: «Учитывая преклонный возраст больного...» Я понимаю, о чем он думает. Врачам мы неинтересны. Их логика проста: чуть раньше или чуть позже — какая в конце концов разница!.. Я не успокаиваюсь.

— А переливание крови могло его спасти?

— Не исключено... Видите ли, в чем дело... покойный Вильбер злоупотреблял лекарствами. Я предупреждал его, как это опасно, но он никого не слушал.

— Да, — соглашаюсь я, — кроме того, он не соблюдал дозировку. Мы сидели за одним столом, и я не раз намекал, что ему следует быть осторожней.

— Весьма прискорбное событие, — заключает Веран.

Должен признаться, что мне жаль беднягу. Я привык к его грубоватым манерам и буду по нему скучать! Но какое же это облегчение, что он больше не сможет болтать языком к месту и не к месту! Воистину своевременная смерть! Мы можем вздохнуть свободно!

21.00.

За ужином мы с Люсиль сидели за столом вдвоем и вынуждены были слушать разглагольствования Габриэля, нашего метрдотеля:

— Какая злосчастливая судьба! Сначала мсье Жонкьер, теперь вот мсье Вильбер... Такие любезные господа! Что поделаешь, мы не вечны!

Габриэлю лет пятьдесят, не больше, он может позволить себе подобные фразочки и продолжает с неосознанной жестокостью:

— Рекомендую цыпленка в белом соусе с трюфелями, он сегодня просто восхитителен!

— Какой болван... — шепчет Люсиль, как только надоеда отходит к другому столику.

— Что твой муж?

— Я ему сказала. Он не был знаком с Вильбером, поэтому...

— Теперь мы в безопасности.

В разговоре наступает пауза. Между нами возникла неловкость, даже отчуждение, как будто мы тоже виноваты в смерти Вильбера. Ужин скомкан.

— Когда состоятся похороны? — спрашивает Люсиль.

— Кажется, послезавтра. Как только приедет его сын.

— Вильбер никогда о нем не говорил.

— Он пасынок, и они были не в лучших отношениях.

— Ты все еще намерен занять его комнаты?

— Не думал об этом, но, если мадемуазель де Сен-Мемен согласится, перееду.

Я выхожу из-за стола следом за Люсиль и догоняю ее у лифта. Мы целуемся — без страсти, скорее как родственники. Забудем ли мы когда-нибудь, как Вильбер сказал, стоя в дверях библиотеки: «О, простите...»?

Я должен испытывать облегчение, но чувствую только подавленность. Начинаю обдумывать переезд. Я много месяцев хотел заполучить апартаменты Вильбера, но теперь понимаю, что слишком устал, да и хлопот будет много. Кроме того, придется спать в *его* постели. Когда ночуешь в отеле, никогда не знаешь, кто занимал номер до тебя. «Казенная» кровать принадлежит всем — и не принадлежит никому. Я не суеверен, и все же... Какие сны приснятся мне на смертном одре Вильбера?

Я неделю не открывал дневник. Со вчерашнего дня живу в квартире Вильбера. Пишу, сидя за его столом, дремлю в его кресле. Передвинул мебель, но это не помогло: я не чувствую себя «у себя» и понимаю, что неприятное ощущение пройдет нескоро.

Похороны Вильбера ничем не отличались от всех предыдущих. Внешний вид его пасынка, длинноволосого парня, не потрудившегося надеть ни галстук, ни пиджак, объясняет, почему отчим не хотел с ним общаться. Этому наследничку не терпелось наложить лапу на имущество усопшего, он в своем праве, но его алчность просто омерзительна. Как и полная бесчувственность. Он с трудом согласился одеться поприличнее. Я купил у него старинный сундук — он теперь стоит справа от окна — и сложил в него часть книг. Вся остальная мебель казенная. Я измотан до предела, пришлось самому перетаскивать из квартиры в квартиру белье, костюмы, личные бумаги, что было нелегко — из-за ноги. Самое трудное позади, остается обжить три комнаты. Другие звуки. Солнце светит по-другому. Я впервые ощущаю аромат сада. Во второй половине дня Люсиль принесла мне розу в вазе с тонким горлышком. Красивый жест... Я напрасно ждал ее в библиотеке. Она не показывается со дня смерти Вильбера. Я как раз занимался перестановкой, когда услышал, что кто-то тихонько скребется в дверь.

— Вот, — сказала она, протягивая мне цветок. — Будешь думать обо мне.

— Войди хоть на минутку.

— Не могу.

Люсиль все время оглядывалась через плечо, наблюдая за коридором, я потянул ее за руку, но она воспротивилась.

— Не нужно, Мишель, прошу тебя. Я ужасно испугалась, когда Вильбер застал нас... Не сейчас... Потом... Мы придумаем, как все устроить наилучшим образом.

Устроим наилучшим образом! Можно подумать, мы рассмотрели все имеющиеся решения. Неужели придется вечно быть начеку, как взломщикам? Я смотрю на розу. Один лепесток плавно опустился на край стола. Символ! Предупреждение! Увядание! Пора в постель.

Полночь.

Нужно сразу все записать, тем более что заснуть теперь все равно не удастся.

Итак, я лег, решил зажечь ночник и нажал на кнопку. Раз. Другой. Ничего. Я понял, что принял за выключатель звонок срочного вызова Клеманс. В моей прежней спальне все было ровно наоборот.

Обнаружив ошибку, я немедленно отправился извиняться. Вышел в коридор. Прислушался. Ни звука. Я сделал несколько шагов в сторону комнатухи Клеманс, заметил свет под дверью и задумался. Как поступить — постучать и попросить не беспокоиться? Или она ничего не слышала? Если так, значит, звонок неисправен. Решаю убедиться и возвращаюсь к себе, оставив дверь открытой. Звоню — раз, другой, третий, четвертый — и прислушиваюсь. Ничего не происходит. Клеманс не появляется. Звонок «умер». Ну и?.. Вильбер мог звонить до посинения, никто бы его не услышал...

Мастером на все руки я себя не назову, но разобрать выключатель — дело нехитрое, достаточно его развинтить. Произведя сию нехитрую операцию, я сразу обнаруживаю

причину поломки. Один из проводков отсоединился. Даже если несчастный Вильбер и звал на помощь, Клеманс об этом не узнала.

Роковая случайность! Если бы проклятый звонок был в порядке, возможно, Вильбера удалось бы спасти. Мне на мгновение кажется, что я наблюдаю за агонией Вильбера. Он чувствует, что силы оставляют его, давит на проклятую кнопку, давит — и ничего не происходит. Он пытается встать, чтобы выйти в коридор и позвать на помощь, теряет сознание и... Кончено... Ужас! Еще один глупейший несчастный случай, как и с Жонкьером...

Укол в сердце!

Жонкьер *не был* жертвой несчастного случая, его убили!

06.00.

Я не спал ни минуты. Меня терзали ужасные мысли. Вернусь к началу и все запишу, возможно, так будет легче разобраться.

Предположим, что проводок отсоединили намеренно. Эту гипотезу абсурдной не назовешь. Вильбер был крайне недоверчив по натуре, но, как и все мы, иногда забывал закрыть дверь на ключ. Значит, зайти и испортить звонок было очень легко. Однако... однако, если речь идет о преступлении — я должен называть вещи своими именами! — получается, что преступник заранее продумал вариант с кровотечением?

Предвидеть что бы то ни было можно лишь в том случае, если заранее планируешь произвести определенные действия, а именно — «скормить» Вильберу сверхдозу пендиорила или любого другого препарата аналогичного действия... Пока что все как будто вполне логично. Мне кажется, я слишком увлекся, и тем не менее стоит додумать все до конца. Как дать Вильберу лекарство, чтобы он ничего не заметил? За едой? Исключено. Что же остается?

Очень простой способ. По утрам Франсуаза ставит подносы с завтраком на столик в коридоре. Предположим, она входит ко мне, раздвигает шторы, мы болтаем — недолго, две-три минуты. Хладнокровный человек успеет отравить чай в чайнике Вильбера, всыпав порошок или вылив туда содержимое пузырька. Из всех постояльцев нашего этажа чай пьет только Вильбер, так что ошибка исключена, а преступное деяние легко осуществимо.

Какую цель преследовал преступник? Нельзя никого обвинять вслепую. Я почти уверен, что Вильбера хотели убить. И сделать это как можно скорее. Ему дали не просто опасно высокую дозу кроворазжижающего препарата, а несколько смертельных доз. Доказать это невозможно, поскольку Вильбер и сам превышал дозы прописанных врачом лекарств. И все-таки я повторяю сакраментальный вопрос: зачем?

Вильбер никому не причинял вреда. Так кому нужно было убирать его? Кто хотел заткнуть ему рот?.. Я — из-за Рувра! А поскольку я не убивал, значит... это она! Совпадение как минимум странное. Вильбер застает нас — и на следующий день умирает. Чьи это слова: «Ужасный тип! Как заставить его молчать?»

Вывод напрашивается сам собой.

10.00.

Я счел за лучшее ничего не говорить о ночном происшествии Клеманс и починил выключатель — это оказалось совсем не трудно. Заяви я о «саботаже», мне бы никто не поверил — ни Клеманс, ни мадемуазель де Сен-Менен, никто другой, а если бы и поверили,

немедленно решили бы, что смерть Вильбера НЕ несчастный случай! По очень простой причине: никому бы не удалось установить связь между смертями Жонкьера и Вильбера. Никому — кроме меня. Только я *точно* знаю, что Жонкьера столкнули с террасы. Знаю — из-за очков, оказавшихся в корзине для бумаг. Если Вильбер тоже был убит, то сделала это Люсиль. И Жонкьер, и Вильбер готовы были разжечь ревность Рувра, чего она допустить не могла. Но об этом придется молчать.

Я не скажу ни слова из любви к Люсиль. А еще потому, что, убивая, она защищала нас обоих. Вильбер мог погубить мою репутацию, обнаружив нашу связь. Боже, как же я ненавижу подобные мелодрамы! «Я погибну! И погублю тебя! Нет, ни за что. Лучше я убью его!» Чистый Сарду!^[20]

Слова отдают дурновкусием, но события — увы! — более чем реальны. Люсиль — убийца, и я должен найти для нее оправдание. Она испугалась — сначала за себя, потом за меня. Если смотреть правде в глаза, следует признать, что я тоже замешан в убийстве. Она далеко не глупа, а значит... нет, это идиотизм... я едва не написал: она знает, что я знаю. Исключено! Откуда ей знать, что я так быстро обнаружил неисправность звонка? Клеманс я никогда не вызываю, следовательно, мог бы заметить это через несколько недель или даже месяцев и не придал бы подобной ерунде никакого значения. Нет, Люсиль ничем не рисковала; по логике вещей я даже заподозрить ничего не должен был.

15.00.

Я все еще предаюсь печальным размышлениям. Обедал один, ловя на себе сожалеющие взгляды пансионеров. Многие наверняка думают: «Где двое, там и третий...» По чести говоря, я бы лучше исчез, чем так мучиться от сердечной тоски. Проявленная Люсиль ловкость ужасает, как и ее решительность, ведь ей пришлось импровизировать — и с Жонкьером, и с Вильбером. Выходя на террасу солярия, она вряд ли планировала трагическую развязку, но голову тем не менее не потеряла и тут же придумала фокус с очками. Когда Вильбер застал ее в моих объятиях, она не впала в истерику и нашла выход, да еще какой — радикальный!

Достать кроверазжижающий препарат труда не составило: она могла взять рецепт, выписанный мужу, и добавить нужную строчку или воспользоваться лекарством самого Вильбера. Итог — два убийства, закамуфлированные под несчастные случаи. Не будь я на сто процентов уверен, что Жонкьер был тогда в очках... тоже принял бы официальную версию. Мне так хочется верить в невиновность Люсиль, что моментами я отбрасываю собственную стройную систему гипотез и верю.

Мы уже неделю почти каждый вечер ужинаем вместе, и Люсиль ни разу ничем себя не выдала. Мы говорили о Вильбере, и она сокрушалась о том, как ужасно все вышло! Нет, она не стала делать вид, будто не понимает, что смерть Вильбера нам на руку, но я и сам высказался примерно в том же духе. Обычно по тону голоса и выражению лица можно распознать тайные мысли человека, опровергающие показную искренность речей. Ничего подобного я не уловил, хотя это мало что значит: до сих пор я слушал Люсиль, не «анализируя» ее, и только теперь, решив, что она может быть убийцей, насторожился.

Между прочим, Арлетт до самого конца удавалось скрывать от меня правду. Я ничего не видел и не понимал. Мы нежно поцеловались в дверях гостиной, и она сказала: «Возвращайся поскорее!» — хотя давно решила оставить меня. Возможно, Люсиль такая же обманщица? Возможно, будет лучше все прояснить, задав прямой вопрос: «Зачем ты

избавила нас от Вильбера?» Но если она ответит: «Чтобы нас не разлучили!» — я ничего не смогу возразить.

Да, я обречен на неведение. Мы обещали друг друга полную откровенность, но настоящими любовниками не стали. Физическая близость делает людей сообщниками. После ночи любви я мог бы сказать: «Я знаю... и о Жонкьере, и о Вильбере. Это ничего не меняет!»

Та же фраза, произнесенная в обычном разговоре, прозвучала бы как обвинение. Люсиль наверняка возмутится, возможности «помириться на подушке» у нас не будет, и ссора станет роковой.

Остается понять, насколько это меня пугает. Пока не знаю. Имею ли я право общаться с женщиной, совершившей два убийства? Боже, при чем здесь право? Люсиль помогает мне жить, только это и важно. Виновна? Не виновна? Я не присяжный и не судья, мне остается только мучиться вопросами без ответов.

Довольно переливать из пустого в порожнее, и да здравствуют сомнения!

23.00.

Перечитал написанное. Добавить нечего, разве что вопрос, заданный мне Люсиль за десертом.

— В чем дело, Мишель? Ты выглядишь озабоченным. Я вижу, чувствую — тебя что-то тревожит.

Если она решит, что я ее подозреваю, мы заблудимся в лабиринте притворства, уверток, умолчаний и хитростей. Я выхожу из положения, сославшись на бессонницу: даже анисовый отвар не помогает! Я в ударе. Мы смеемся. Решено: раз наше настоящее — терра инкогнита, пусть моим убежищем будет прошлое. Я стану для Люсиль трубадуром собственного детства, и мы забудем о Жонкьере и Вильбере. А если повезет, то и о Рувре. Одного я не знаю: во что превращается любовь, смирившаяся с умолчаниями?

Я возвращаюсь к дневнику после многодневных психологических блужданий. Не знаю, каким еще словом определить то состояние неустойчивости и колебаний, в котором я находился, «дрейфуя» от одной идеи к другой, перебирая в голове планы и пытаюсь увернуться от множества страхов. Куда я иду? Куда мы идем?

После смерти Вильбера Люсиль стала менее осторожной, как будто исчез единственный враг, которого ей стоило опасаться. Как только страсти в «Гибискусе» улеглись, она тоже успокоилась. Не пропустила ни одного ужина. Я бы даже сказал, что она повеселела и ест с аппетитом, а вот мне при воспоминании об ужасной смерти Вильбера кусок не лезет в горло.

Люсиль больше не занимается библиотекой, чтобы не раздражать мужа, но не боится рисковать и назначает мне свидания в городе, перед витриной книжного магазина или у кафе. Мы прогуливаемся — не дольше получаса. Я имел слабость признаться, что от скуки едва не покончил с собой, и это ее потрясло. Мне нравится, когда Люсиль волнуется: во-первых, она в такие моменты очень хорошеет, а во-вторых, глядя на ее переживания, я меньше терзаюсь сам. Перестаю говорить себе: «Это она. Конечно, она. Никто другой не мог убить Вильбера». Мне достаточно взглянуть в ее потемневшие от внезапного страха глаза, чтобы ощутить сладостный покой. Я не преминул добавить, что не чувствую себя до конца излечившимся, что в любое мгновение могу снова захандрить, рассказал, как ужасна была та депрессия.

— Поклянись, что все уже позади, — просит она.

— Надеюсь.

— Ты должен быть уверен. Я с тобой, Мишель!

Она берет меня под руку, и я несколько мгновений чувствую себя счастливым, но стоит нам расстаться, и опасные мысли возвращаются. Это сильнее меня. Похоже на зуд в сердце. Вчера она пришла вернуть мои романы. Да, именно так — набралась смелости и постучала в дверь. На часах было 15.30, я придремывал в кресле, не имея ни сил, ни желания читать, думать или делать что бы то ни было еще. Короче говоря, напоминал один из тех обломков кораблекрушения, которыми раньше зарабатывал на жизнь. Какая неожиданность!

— Я тебе помешала?

— Конечно, нет.

На сей раз она решилась проскользнуть в дверь — как женщина, готовая скомпрометировать себя.

— А что твой муж?

— Он спит.

Ее руки обвились вокруг моей шеи, я обнял ее за талию. Напряженный миг измены. Она опомнилась первой, отстранилась, села на ручку кресла.

— Ты прекрасно здесь устроился!

«Здесь»! То есть у Вильбера! Странное замечание. Как минимум неуместное. Люсиль часто недостает такта.

— Привыкаю понемногу.

— Ты позволишь?

Не дожидаясь ответа, она мелкими шажками пошла по комнате, чуть наклонив вперед

голову, что делало ее похожей на приносящую кошку. Быстрый взгляд в сторону спальни, другой — мимоходом — в приоткрытую дверь ванной.

— Очень мило, — решает она. — Но мне не нравится, как расставлена мебель. Письменный стол нужно расположить у окна, так тебе будет лучше работать... Ты ведь пишешь... время от времени. Эти бумаги...

— Нет, не трогай! — Я убираю записи и улыбаюсь. — Это так, ерунда.

— Дай мне прочесть... Прошу тебя.

— И речи быть не может.

— Ты замыслил новый роман?

— Угадала... На это уйдет много времени.

— Ладно, я поняла. Будь душкой, помоги мне передвинуть стол к окну. Увидишь, так будет лучше.

Она очень возбуждена. Закончив со столом, переносит кресло под люстру и оглядывает комнату. На ее лице написано сомнение.

— Я бы все здесь переустроила — с твоего позволения, конечно. Хочу, чтобы ты работал. Понимаешь, Мишель, я считаю тебя немного ленивым. Работай! Ради меня. Ради твоей Люсиль! Я буду очень тобой гордиться!

Я едва сдерживаюсь, чтобы не зарычать от ярости. Хочу, чтобы она поскорее ушла, тогда я смогу вернуть стол и кресло на прежние места. Ненавижу, когда трогают мои вещи и распоряжаются мной самим. Я буду работать — если захочу. В коридоре я принужденно улыбаюсь ей на прощанье, закрываю дверь и отправляю розу... ее розу в помойку. Сегодня вечером, за ужином, напушу на себя мрачный вид — пусть всполошится и поухаживает за мной. Небольшая плата за доставленное неудобство!

Черт меня дернул сказать Люсиль, что я намерен сочинить еще один роман. Теперь она донимает меня, требует, чтобы я приоткрыл тайну. Она воображает, что я уже выстроил сюжетную линию, и жаждет ее услышать. Люсиль представляет себе труд литератора как работу портнихи: создаешь модель, кроишь, сметываешь, примеряешь на манекенщицу. Она хотела бы стать этой «манекенщицей», то есть первой читательницей или даже критиком. Я тщетно пытаюсь объяснить, что у писателей все происходит иначе, Люсиль мне не верит.

— Противный злюка, — говорит она. — Держишь меня за идиотку. А я просто хочу помочь.

И я импровизирую... особого труда это не составляет, мне совершенно ясно, что нравится Люсиль: эпическое полотно в стиле Бернстайна,^[21] страсти банальные, но накалены до предела. Каждый день, за ужином, я сочиняю сногшибательный сценарий. Иногда она так увлеченно слушает, что делает знак официантке подождать, и бедная девушка стоит столбом с тяжелым подносом на руке.

— Как она собирается из этого выпутаться? — нетерпеливо интересуется Люсиль (она сразу начала олицетворять себя с главной героиней).

— Пока не знаю.

— Врунишка!

Я откидываюсь назад, чтобы позволить Жюли расставить посуду и успеть придумать новый поворот сюжета. Потом я рисую портрет женщины, подумывающей о том, чтобы убить мужа, и по-фарисейски интересуюсь мнением Люсиль.

— Тут у меня сомнения... Что бы ты посоветовала?

Люсиль в восторге и готова высказаться. Она убеждена, что женская психология так загадочна и своеобразна, что мужчина просто не способен постичь все ее тонкости. Мысль о том, что моя героиня хочет умертвить мужа, не смущает ее: женщина вполне может так поступить, если «оскорблено ее женское достоинство».

Все это совсем не весело. Игра меня забавляет, но я прекрасно осознаю, что это злая игра. Люби я Люсиль по-настоящему, вряд ли стал бы проводить над ней столь изощренный эксперимент. Изощренный и по большому счету бессмысленный. Люсиль либо разгадала мой маневр, либо ей не в чем себя упрекнуть. Если она поняла, что я пытаюсь выведать правду о смерти Жонкьера, значит, ее практический ум чертовски изворотлив, хотя литературное чутье у нее отсутствует напрочь. Не странно ли быть такой проницательной и одновременно такой... примитивной? Неужто женская психология еще более запутанна, чем я предполагал?

Как бы там ни было, глупая сентиментальность Люсиль меня ужасно раздражает. Она свято верит в мой талант, но я лучше, чем кто бы то ни было другой, знаю, что я не писатель. Люсиль по-матерински заботливо подталкивает меня к написанию романа, но он никогда не «родится». Я слишком стар. Я бесплоден. Иногда я придумываю новый нелепый поворот истории только для того, чтобы она сказала... ну, не знаю, что-то вроде «это уж слишком!» или «по-моему, ты увлекся»... Такие слова прозвучали бы как критическое замечание... призыв к порядку.

Ах, как сильно я мог бы любить эту женщину, если бы она перестала верить в меня!

Я никого ни о чем не просил. Скрылся от мира в «Гибискусе», чтобы тихо доживать свои дни, но меня и здесь нашли и заставляют шевелиться. Так мальчик тыкает палочкой в жабу, чтобы та подпрыгнула. Я чувствую, что вот-вот сорвусь и выкрикну в сердцах: «Оставь меня в покое с этим романом, давай поговорим о чем-нибудь другом!» На ум приходит строчка из стихотворения: «Люблю тебя. Но что тебе за дело?» Ах, Люсиль, милая моя Люсиль! Будь ты циничной преступницей, у нас, во всяком случае, была бы тема для разговоров!

Я прикован к постели, хотя не могу ни лежать, ни стоять, ни сидеть из-за внезапного обострения ишиаса. Нога болит ужасно, я вытягиваюсь на кровати, мне тут же начинает казаться, что в кресле будет легче, но это иллюзия.

— Вам не стоит выходить, — сказал доктор.

Куда уж выходить, когда малейшее движение становится мукой! Я перетаскиваю себя от кровати к письменному столу и думаю о Рувре, который едва может перебраться из одной комнаты в другую. Люсиль оказалась между двумя хромыми калеками! Мне жаль нас, всех троих, но я ничего не имею против любовного «отпуска». Аспирин ненадолго избавляет меня от мук, я устраиваюсь в подушках, чувствуя себя посторонним в собственной жизни.

Транзисторный приемник сообщает, что за стенами дома престарелых происходят забастовки и похищения, звучат отголоски войны. Это не имеет ко мне ни малейшего отношения. Я беженец. Значение имеют только тишина и покой, все остальное — вздор. Не важно, как именно умер Вильбер! Мне плевать, любит меня Люсиль или нет, смогу я когда-нибудь написать еще хоть одну страницу или с писательством покончено навсегда. Какое это счастье — лежать с закрытыми глазами, ощущая кожей ласковую прохладу кондиционера, и ни о чем не думать! Так блаженствует кот, угнездившийся на подушке и прикрывающий лапкой нос: «Меня ни для кого нет дома!» Меня снедает бурный, злобный,

самоубийственный эгоизм. А что, если бы существовала иная форма эгоизма, подавляющего любой слишком сильный порыв чувств? Если бы я наконец принял себя таким, каков я есть, — физически и душевно выдохшимся стариком? Нужно обсудить эту проблему с Люсиль, и тут мне поможет история, которую я рассказываю каждый вечер на манер этакой Шахерезады для бедных!

Клеманс:

— Ну что, мсье Эрбуаз, не идут дела на лад? Все о вас спрашивают. Мадам Рувр очень беспокоится. Надеюсь, участь бедняги председателя вам не грозит: он-то ведь женат, есть кому о нем позаботиться. До чего же мне жаль одиноких стариков! Я не о вас говорю, боже упаси, но взять хоть мадам Пасторалли. Ей скоро стукнет восемьдесят восемь, она почти ослепла, да и слышит плохо. Разве это жизнь?

— Занятное у вас ремесло, Клеманс. Ухаживаете за людьми, которые точно никогда не понравятся. Не надоело?

— До ужаса надоело! Потерплю еще год-два и уйду на пенсию. Знали бы вы, как много и тяжело я работала! И ни черта не скопила... Да уж, бывали в моей жизни те еще деньки!

Она наконец уходит, унося с собой лоток с лекарствами и шприцем и избавляя меня от своего нытья. Мне многое хочется записать, но я и пяти минут не могу высидеть за столом. Еще вчера я был уверен, что победил скуку, — и вот она снова подстерегает меня.

11.00.

Почта. Письмо, написанное незнакомым почерком. Я все понял по первым словам: «Мишель, дорогой мой...» Люсиль отправила конверт из города, чтобы никто не догадался, что автор живет в «Гибискусе». Я вкладываю его в папку.

Мишель, дорогой мой!

Я узнала от Клеманс, что у тебя обострился ишиас. Ты, должно быть, ужасно страдаешь, если даже не смог спуститься в столовую и поужинать со мной. Я хочу быть рядом с тобой, любимый, но не могу — слишком рискованно! — и очень из-за этого горюю. Находиться совсем рядом и не иметь возможности пообщаться — разве это не ужасно? Есть, конечно, Клеманс, но я боюсь задавать слишком много вопросов, чтобы не вызвать подозрений. Кроме того, мы всегда разговариваем в присутствии Ксавье. Мне приходится строить предположения о том, как ты справляешься с едой, умыванием и всем прочим, навещает ли тебя хоть кто-нибудь или ты совсем один. Боже, где моя голова? Ты ведь не можешь ответить... Умоляю, не пиши мне. Консьерж отдает всю корреспонденцию Ксавье, даже ту, что адресована мне. Вот что я придумала: если тебе хватит сил добраться до окна, поставь на подоконник мою вазу с розой. Я увижу ее из парка, пойму, что ты получил письмо, думаешь обо мне, и успокоюсь. Не будем терять мужества.

Твоя нежная Люсиль.

Не забудь уничтожить это письмо.

Она очень мила, но жутко назойлива. Роза давно завяла. Интересно, какой еще предмет она намерена включить в эту детскую игру? Идея «говорящего окна» кажется мне

неуместной и даже нелепой. Надеюсь, приступ скоро пройдет. Даже если мы не будем видаться неделю, небо на землю не упадет!

Второе письмо.

Мишель, любимый!

Я много раз ходила в парк, но цветка на подоконнике не увидела и очень встревожилась: раз ты не выполнил мою просьбу, значит, не можешь добраться до окна! Очевидно, тебе гораздо хуже, чем мне сказали. Я не решаюсь постучать в твою дверь, ты, наверное, предпочитаешь быть один, когда болеешь. Я вижу, каким во время обострений становится Ксавье, и знаю, о чем говорю. Представь, как мне страшно, и постарайся подать хоть какой-нибудь знак. Не сердись! Ты умный и сильный, а я всего лишь слабая женщина, и мне нужна твоя поддержка, чтобы выносить присутствие мужа и терпеть абсурд жизни без тебя!

Как бы мне хотелось ухаживать за тобой! Я умею массировать, ставить банки и даже научилась делать уколы, наблюдая за Клеманс. Я завидую этой женщине — она имеет право входить в твою спальню, прикасаться к тебе, разговаривать с тобой. А я — никто, посторонняя, прокаженная, хотя люблю тебя всем сердцем. Несправедливо! Надеюсь, мои письма хоть немного тебя утешают; во всяком случае, я чувствую себя чуточку менее несчастной, когда пишу их. Мне кажется, что я нахожусь рядом с тобой, и мое сердце мурлычет.

Целую тебя, любовь моя. Хотела бы захромать и стать похожей на тебя.

Люсиль.

Конечно, я бы предложил ей способ общения, если бы мог его придумать. Увы... Честно говоря, я не слишком этим расстроен. Меня так измучила боль в пояснице, что я вдруг понял: любовь к Люсиль — искренняя любовь! — излишняя роскошь. Она обогащает, когда я чувствую себя более или менее прилично, но стоит мне приболеть, и это чувство вызывает досаду, совсем как неудачное вложение денег. В такие моменты ко мне приходят Жонкьер и Вильбер. Я не могу помешать им нашептывать мне ужасные вещи, больше того — слушаю их с удовольствием. Иногда я даже нуждаюсь в их помощи, чтобы противостоять Люсиль.

Третье письмо. Консьерж, разносящий почту по комнатам, замечает:

— Да уж, мсье Эрбуаз, не ленивые у вас друзья, все пишут и пишут.

— Это мой внук, — отвечаю я.

— Он живет где-то поблизости? На конверте почтовый штемпель Канн.

— Да, он здесь проездом.

Старый болван. Хочет быть любезным и даже не подозревает, как сильно мне досаждают. Слава богу, у него много дел, и он уходит. Остается отправить очередное послание к остальным.

Дорогой Мишель!

Клеманс сообщила, что тебе не стало хуже. Не беспокойся, мне не пришлось задавать наводящих вопросов, это Ксавье поинтересовался: «А что наш сосед, мсье Эрбуаз, воспрянул духом? Было бы жаль уступить ему инвалидную „пальму

первенства“!»

Такова его обычная манера гадко шутить. Если ты и правда чувствуешь себя лучше, как утверждает Клеманс, почему бы тебе не подойти к окну — скажем, часа в четыре — и не послать мне воздушный поцелуй, чтобы было проще дожить до завтра? Сделай это, Мишель, иначе я начну воображать ужасные вещи: что ты меня больше не любишь... что я для тебя обуза... что ты обиделся, когда я назвала тебя ленивым, и теперь наказываешь меня.

Боже, как я ненавижу Ксавье! Это он не дает мне прибежать к тебе. Мой муж немощен и подозрителен, он препятствие на пути к счастью, которое мне никогда не удастся сдвинуть с места! Я несчастна. Ты молчишь, он придирается, а я схожу с ума. Помоги мне, Мишель. Люблю тебя и целую.

Твоя Люсиль.

Поцелуй в окно! Приехали! Нет, она окончательно лишилась рассудка. Убирая Вильбера — хладнокровно, с изобретательной жестокостью! — она не думала о нежностях. Видимо, вычурность стиля ее писем вызвана страхом показаться банальной. Она причесывает свои чувства, но что в них есть правда? Она больше не может выносить своего мужа, это несомненно. Боль проясняет мозги. Возможно, наша любовь действует наподобие обезболивающего, для нее она как морфин — от страдания по имени Ксавье, мне она помогает справиться с болью, причиненной Арлетт. И все-таки завтра я попробую спуститься к обеду.

10.00.

Теперь она пишет мне каждый день. Я чувствую неловкость, когда консьерж утром стучит в мою дверь.

— Здравствуйте, мсье Эрбуаз. Ну как, получше себя чувствуете?.. Вот вам письмо от внука.

Нужно будет сказать мадемуазель де Сен-Мемен, что персонал позволяет себе слишком много фамильярностей. Они считают обитателей «Гибискуса» старыми и больными и обращаются со всеми нами как с детьми.

Как только за ним закрывается дверь, я пробегаю глазами письмо. Те же жалобы. Как же раздражает нытье человека, который может ходить, куда хочет, и не знает, что такое боль. Я так страдал, потеряв Арлетт, что едва не заболел. Честное слово. Но я справился. Сердце заживает быстрее, чем хотелось бы, а вот старые стершиеся кости без устали напоминают, что тело пришло в негодность. Боль отбивает всякое желание произносить нежные слова. Как я понимаю Рувра! Возможно, он вовсе не ревнив, и Люсиль пустила этот слух, чтобы потешить свое самолюбие. Разве не Рувр отсылает ее от себя, чтобы иметь возможность постонать без свидетелей?

21.00.

Я ужинал внизу. Должен признаться, что благодарная улыбка Люсиль компенсировала приложенные усилия, хотя мы смогли обменяться только несколькими банальными фразами: мадемуазель де Сен-Мемен посадила за наш стол новопривывшего постояльца «Гибискуса», некоего мсье Маршессо, отдав ему место Жонкьера. Он очень приятный и исключительно сдержанный человек, вот только ест очень медленно из-за то и дело

«взбрыкивающего» протеза (мы уже приступили к десерту, а он все еще возится с мясом!). Пришлось уйти из-за стола, оставив его в одиночестве.

— Так дальше продолжаться не может, — тихим голосом произносит Люсиль. — Подумай сам: днем ты остаешься у себя, а за ужином мы теперь вынуждены терпеть присутствие человека, который жует так громко, как будто у него во рту волчий капкан, а не зубы!

— Имей терпение, Люсиль! Гнев — непродуктивное чувство. Поверь, я делаю все, что могу.

— Я знаю, дорогой, и вовсе не сержусь.

Как только мы оказываемся в лифте, она прижимается ко мне и продолжает:

— Я сержусь на жизнь. Хочу быть с тобой, а не с ним. Как ты себя сегодня чувствуешь? Скоро сможешь выходить на улицу? Я встречу с тобой, где захочешь и когда захочешь.

— А как же Ксавье?

— Ксавье? Я ему не прислуга и не сиделка. Не оставляй меня одну, дорогой, позаботься о нас. Сможешь вызвать такси? А что, чудная мысль! Тебя отвезут в порт, и ты совсем не устанешь.

Не устанешь! Бедная глупышка Люсиль! Ей не ведомо, как трудно мне скрывать свою запредельную, нечеловеческую усталость.

— Постараюсь, — говорю я. — Но ничего не обещаю.

— Давай встретимся завтра, в «Голубом парусе». Согласен? Если поймешь, что тебе хватит сил...

— ...поставлю на окно твою вазу, — перебиваю я с ноткой сарказма в голосе. — Решено.

Лифт останавливается. Люсиль помогает мне выйти. Коридор пуст. Она порывисто целует меня.

— Мишель... Я бы хотела...

— Да?

— Нет, ничего... Я брежу. Позаботься о себе. И — надеюсь! — до завтра.

Она смотрит мне вслед, и я стараюсь держаться прямо, чтобы не убить в ней надежду. Это единственный подарок, который я могу ей сделать.

10.00.

Рувра увезли в клинику. Он сломал шейку бедра.

15.00.

Прошел слух, что он умер.

21.00.

В доме царит легкая паника. Меня «просветила» Дениза, и я спешу записать в дневник эти по меньшей мере любопытные сведения. Несчастье случилось около шести утра. Рувр встал, чтобы принять лекарство, одна из тростей поехала на натертом паркете, он не удержался на ногах и при падении сломал шейку бедра. Сначала врачи предположили, что кость треснула, как только председатель сделал первый шаг: именно так чаще всего и случается этот подлый перелом. Однако практически сразу Люсиль нашла у изножья кровати набалдашник-«каблучок» трости. Он высох, растрескался и отлетел, трость не

выдержала веса Рувра и спровоцировала роковое падение.

Я встретил в коридоре мадемуазель де Сен-Мемен, и она подтвердила рассказ Денизы. Директриса потрясена и подавлена, что неудивительно: она боится, что репутация «Гибискуса» может серьезно пострадать. Рувр умер в клинике, во время операции.

Около четырех я собрал волю в кулак, спустился в парк и сел на скамью, чтобы наблюдать за входом в здание. Я смутно надеялся увидеть Люсиль, но она осталась в клинике, что вполне естественно. Мне пришлось выслушать многочисленные комментарии обитателей дома — завидев меня, они спешили подойти и побеседовать на животрепещущую тему.

Никто из них не был лично знаком с Рувром, так что главенствующим чувством было любопытство. Все знали, как именно произошло несчастье — в нашем маленьком мирке новости распространяются со скоростью света, — и ждали от меня каких-нибудь интересных деталей о личности председателя. «Вы ведь тесно сошлись с его женой, не так ли?» Я, разумеется, решительно опровергал досужие домыслы:

— Мы ужинаем за одним столом, не более того.

Звучали сетования: паркетные полы слишком скользкие, как и мраморные плиты в ваннных комнатах, несчастный случай, подобный тому, что произошел с Рувром, мог случиться в любой момент с каждым из нас.

— Мы все, или почти все, ходим с палками, — сказал генерал. — Получается, что опасность подстерегает любого. Странно другое: я пользуюсь обычной тростью, не костылем, но она ни разу меня не подводила. А ваша?

Я ощупал наконечник моей палки, потянул за него, и генерал покачал головой.

— Ну вот, видите, просто так его не сорвешь. Бедняге просто не повезло! («Бедняга» — любимое словечко генерала, никак к этому не привыкну.)

Я просидел на скамье до самого обеда. Пустая болтовня досужих сплетников не мешала мне размышлять о том, что смерть Рувра коренным образом изменит природу наших с Люсиль отношений. Препятствие устранено... очень своевременно, нельзя не признать. Как и опасность, исходившая от Вильбера и Жонкьера.

Что за нелепые мысли? Ничего не могу с собой поделать. Рувр мертв, теперь ее ничто не остановит, и меня это ужасает. Как я должен себя вести, чтобы не выдать своих подозрений? И какое право я имею ее подозревать?

Меня одолевают сомнения, но все они более чем шатки. Ладно, рассмотрим ситуацию. Люсиль повредила резиновый наконечник, и он соскочил (нужно еще понять, как именно она это сделала). Что дальше?.. Могла ли она быть на сто процентов уверена, что трость заскользит по паркету, а если и заскользит, что Рувр не успеет ухватиться за стол или спинку кровати? Даже упав, председатель мог не сломать шейку бедра... Нет, Люсиль невиновна. Если только... Если только она не рискнула всем, уверенная, что у нее есть минимальный шанс преуспеть, и все-таки готовая его использовать. К чему бояться правды? Вина Люсиль очень бы меня устроила.

10.00.

Спал я ужасно, а в семь утра в мою дверь постучали. Я с трудом поднялся, стряхивая остатки дурного сна. Нога продолжала болеть, я мысленно обозвал незваного гостя последними словами, открыл и увидел... Кого бы вы думали? Люсиль кинулась в мои объятия!

— Прости, дорогой. День был просто кошмарный, я почти не спала и совсем измучилась. Все устроено. Тело в морге клиники. Похоронное бюро уладит все формальности. Церемония состоится завтра утром. А ты как себя чувствуешь?

Люсиль останавливается перед зеркальным шкафом.

— Боже, ну и страшилище...

Она садится в изножье кровати. Чувствует себя как дома.

— Ты осунулся, бедный мой зайчик. Может, стоит сделать рентген, чтобы быть спокойным? Мы подумаем об этом, как только все закончится. Скоро приедет моя сестра из Лиона, а брат Ксавье будет здесь сегодня вечером. После похорон мы отправимся к нотариусу, хотя это пустая формальность — я наследую все. Не стой, садись в кресло.

Люсиль говорит, не закрывая рта, трет ладони, хрустит пальцами. Откуда это напряжение? Я спрашиваю — машинально, почти не осознавая смысла своих слов:

— Он страдал?

— Нет. Операция длилась долго, был общий наркоз, и сердце не выдержало.

— У него было больное сердце?

Она пожимает плечами.

— Весь его организм был сильно изношен.

— Не понимаю, как мог отвалиться этот проклятый наконечник.

— Я тоже не понимаю. Наверное, просто расшатался. Боже, как мне тебя не хватало! Знаешь, ты не обязан ехать на кладбище. Пожалуй, будет лучше, если ты останешься дома. Нужно соблюдать приличия. Вечером я ужинаю с сестрой и деверем, а завтра буду занята весь день. Так что до послезавтра, любимый, я буду думать только о тебе.

Она идет ко мне, останавливается.

— О, ты вернул стол на прежнее место? Знаешь, если тебе не понравилась моя идея, нужно было сказать, только и всего. Я не из тех, кто старается во что бы то ни стало навязать другим собственное мнение. До скорого, дорогой!

Поцелуй. Она выходит, не дав себе труда проверить, есть ли кто-нибудь в коридоре. Она свободна! Боже, как бы ее свобода не обернулась моим закабалением.

22.00.

Я перечитываю последние строчки. В них сформулированы мрачные мысли, что не перестают волновать меня с самого утра. Бесполезно отрицать очевидное. Я должен признать, что сначала Люсиль избавилась от человека, который мог сделать достоянием гласности неприятные для нее факты. Я не знал и не знаю обстоятельств ее развода. Мне неизвестна версия Жонкьера. Вполне вероятно, что она в корне отлична от той, что изложила мне Люсиль. Рувр не на пустом месте безумно ревновал жену, у него наверняка были серьезные основания подозревать ее.

И что же происходит после устранения Жонкьера? Она «нацеливается» на меня... Кто сделал первый шаг? О да, весьма осторожный — я ничего не заподозрил. Меня не провоцировали — приглашали, и очень тактично. Она оставляла себе свободу рук, чтобы в любой момент — если я вдруг проявлю некоторую холодность — дать понять, что я все не так понял. Я поддался, но мне кажется, что Люсиль намеренно разыграла любовную комедию. Зачем, с какой целью?..

Как бы там ни было, следом за Жонкьером настал черед Вильбера: проболтайся бедняга, и нашей идиллии пришел бы конец. Затем... затем между нами осталось

единственное препятствие — ее муж. Теперь исчезло и оно. Получается, Люсиль с самого начала хотела меня «заарканить». И я снова задаю себе вопрос: зачем?

Мне в голову пришла мысль — возможно, не самая глупая. Предположим, что в прошлом Люсиль совершила нечто крайне неблагоприятное... и случилось это в то время, когда она была замужем за Жонкьером, а Рувр ничего не знал... вернее, узнал уже после женитьбы. Рувр — высокопоставленный судья, ему не нужны скандальные разоблачения, но он не спускает глаз с жены. И вот эта жена, пленница своего прошлого, против собственной воли заточенная в «Гибискусе», случайно встречается здесь человека, который может навредить ей в моих глазах. Она действует без колебаний, потому что уже почувствовала во мне союзника и, возможно, с первого взгляда определила, насколько я уязвим... Считается, что женщины — большие интуитивистки. Итак, я — ее шанс. Используя меня, она сумеет не только избежать бесчестия, но и начать новую жизнь. Мой возраст значения не имеет, как и моя хромота. Если мои рассуждения верны, она в самом скором времени заговорит о свадьбе.

Какое огромное, какое чудовищное разочарование! Сначала Арлетт, теперь Люсиль... Поражение! Еще одно поражение!

21.00.

Я не пошел на похороны. Понимал, что не смогу скрыть от Люсиль растерянность и страх. Генерал сообщил, что церемония прошла «очень хорошо», и посетовал на мое отсутствие. Пока остальные прощались с Рувром, я не без труда доковылял до почты, рядом с которой находится кабинет ортопеда, чтобы выяснить, может ли износиться и соскочить наконечник трости.

— Это возможно, — ответил он, — но маловероятно. Мы представляем клиентам полную гарантию безопасности. Конечно, если хозяин пользуется палкой или тростью очень долго и не слишком аккуратно, «галошка» может отскочить.

Значит, шансы разделились поровну. Я вернулся к тому, с чего начал. Моя идеальная любовь разбита вдребезги! Чем дольше я об этом думаю, тем яснее понимаю, что дело даже не в оформившихся вчера подозрениях: наша история была обречена с самого начала. Да, я смертельно скучал! И теперь жалею о тех наполненных сплином днях, потому что сейчас невыносимо страдаю — вопреки рассудку и всем тем логическим построениям, которые обличают Люсиль. Я жажду ее видеть, хотя боюсь, что не сумею промолчать.

10.00.

Клеманс:

— Для нее это избавление, уж вы мне поверьте. Скажу больше, мсье Эрбуаз: на ее месте я бы тут надолго не задержалась. Она еще молода, хороша собой и отлично обеспечена. У нее есть время начать новую жизнь. Путешествовать, делать что захочется... Я бы не стала «плесневеть» в этом доме. Ни за какие коврижки!

Да, наша славная Клеманс — олицетворение здравого смысла! И впрямь зачем Люсиль оставаться в «Гибискусе»? Она наверняка убралась бы отсюда, если бы... не имела видов на меня. Это очевидно.

17.00.

Люсиль спустилась к обеду. Мне следовало быть к этому готовым. Она надела темный

костюм. Очень благородный. Сугубо «вдовый». Я мысленно благословлял нашего соседа: благодаря его присутствию за столом мы ограничились в разговоре ничего не значащими фразами и я сумел держаться естественно. Я наблюдал за Люсиль, чего не делал никогда прежде. Она в трауре, но впервые надела чуточку слишком броские украшения. Великолепный изумруд на безымянном пальце левой руки прикрывает обручальное кольцо. Дорогое колье. Изумительная брошь на лацкане пиджака. Безупречный макияж. Идеальная прическа. Мне неловко, я чувствую себя рядом с ней морщинистым, увядшим, помятым стариком. Даже если отбросить все подозрения и недостойные мысли, один факт остается непреложным: я слишком стар для нее. Я позволил себе влюбиться в Люсиль только потому, что находился под защитой Рувра. Пока он был жив, я не имел никаких обязательств. Подобная любовь — редкостная роскошь. Теперь все изменилось. Мой эгоизм о казался под угрозой, и я заранее противлюсь тому, что будет происходить дальше.

Кофе в салоне. Она долго рассказывает мне о сестре, которая хотела хоть ненадолго увезти ее в Лион.

— Я отказалась.

— Из-за меня?

— Ну конечно! Разве я могла тебя оставить, бедный мой козлик?

— Смена обстановки пошла бы тебе на пользу.

— Об этом не может быть и речи. — Тон сухой и решительный. — Когда она вернется, я вас познакомлю. Она знает, что ты мой верный и очень дорогой друг.

— Ты не должна была ей говорить...

— Почему? Тебе это неприятно?

Я вынужден сказать «нет» и не делаю тот первый шаг назад, который рано или поздно вынужден буду сделать. Я не знаю, как вести себя с ней, как дать понять, что она не должна слишком многого от меня требовать, что я хочу быть ей другом, не более того.

Я сворачиваю разговор, сославшись на необходимость прилечь. Она провожает меня до двери.

— Мы сможем немного прогуляться, когда жара спадет.

— Да. Может быть.

— Ты уверен, что тебе ничего не нужно?.. Хочешь, я сделаю массаж?.. Ксавье это помогало.

Неужто она из тех вдов, что поминают усопшего мужа при любом удобном случае? Наконец-то ушла! Одиночество! Мое бесценное новообретенное одиночество!

22.00.

Мы вышли на прогулку, как хотела Люсиль. Не прятались, не оглядывались, но я настоял, чтобы она не брала меня под руку.

— Неужели ты все еще боишься кого-нибудь шокировать? Мне теперь все равно!

Не помню, о чем мы разговаривали. Она задавала вопросы — об Арлетт и Хосе.

— Странная у вас семья... Что будешь делать, если твоя жена вернется?

— Это маловероятно.

— Кто знает?.. Ты примешь ее обратно?

— Разумеется, нет.

— Так почему же ты не развелся?

— Я был ужасно угнетен. Депрессия длилась больше года.

— И все-таки это не слишком предусмотрительно.

Люсиль не стала продолжать, но я понял ход ее мыслей. Она освободилась от мужа и играет в открытую, а я выгляжу мошенником и трусом, не решившимся на развод. Мы в неравном положении — по моей вине.

Мы зашли в чайный салон, и две дамы из «Гибискуса», как по команде, повернули головы и уставились на нас. Я поклонился, смущенный и одновременно раздраженный. Пансионерам будет что обсудить! Я уверен, что...

...Зазвонил телефон. Возможно, это Люсиль решила пожелать мне доброй ночи по телефону. За ней больше никто не следит, и она знает, что я долго не засыпаю.

— Ты работаешь?

— Да. Пишу.

— Я хотела поговорить с тобой о библиотеке.

Начинается банальный, отнимающий у меня время разговор. Библиотека была закрыта несколько дней из-за моего недомогания, как же быть, что же делать... Пустая болтовня! Я отвлекся, потерял нить рассуждений, что всегда ужасно меня раздражает.

— Если я помешала, дорогой, скажи, не стесняйся.

— Нет, нет, все в порядке.

От нетерпения у меня вспотели ладони. Боже, пусть она замолчит! Вешаю трубку, делаю несколько глотков анисового отвара. Продолжать работу бессмысленно, остается закрыть тетрадь и лечь в постель.

20.00.

Я не мог принять решение почти две недели — тринадцать дней, если быть точным. Был совершенно деморализован, не написал ни слова. О чем писать? Меня мучили одни и те же мысли и воспоминания: вот мы с Жонкьером беседуем на террасе, у него на лбу очки... эпизод с Вильбером, эпизод с Рувром как логическое продолжение первого преступления. Но если отталкиваться от падения Рувра, смерти Жонкьера и Вильбера тоже выглядят несчастными случаями. Возможно, память мне изменяет. Смогу я поклясться в суде под присягой, что Жонкьер в момент падения был в очках? Одно из двух: если да, значит, Люсиль совершила три убийства; если нет, значит, она невиновна, а мои подозрения омерзительны.

Перечитывая написанное, я осознаю, что меня, так сказать, кидает из огня да в полымя: прокурор, адвокат, обвинитель, защитник... Такое мало кто вынесет. Хватит ли мне смелости на объяснение или я продолжу молчать? Я задаю себе эти вопросы по двадцать раз на дню, когда мы встречаемся в столовой, в парке, в городе... Иногда она спрашивает:

— Откуда эта серьезность, Мишель? Ты плохо себя чувствуешь?

Я пытаюсь улыбаться. Что она станет делать, если поймет, что ее разоблачили? Как поступит, если обвинение ложное? Взорвется от ярости? Затаит злобу? Я откладываю объяснение. Хватит ломать голову, довольно мучиться неразрешимыми вопросами! Пусть все идет как идет.

Нет. Исключено. Люсиль начала строить планы — за нас обоих. Ей кажется, что я укрощен.

— Не хочешь снова съездить в Венецию? — спросила она позавчера. — Пусть это станет нашим свадебным путешествием!

Люсиль слишком осторожна, чтобы зайти дальше, вот и прощупывает почву. И она

права. Все давно поняли, что мы не просто симпатизирующие друг другу соседи по этажу. Наше приключение должно завершиться свадьбой. Я могу оттянуть событие — мне необходимо время, чтобы урегулировать ситуацию с Арлетт, но увильнуть не получится. Я торможу. Упираюсь. Нет! Ни за что! Я должен с ней поговорить. Обещаю себе, что сделаю это завтра... если не струшу.

22.00.

Уф! Свершилось! Но какой ценой! Я пригласил ее к себе, сказал, что нам нужно поговорить, и ее лицо просияло. Она поняла, что речь пойдет о нашем будущем. Когда я открыл дверь, она улыбнулась, и у меня защемило сердце. Но ходить вокруг да около было не в моих правилах.

— Я много думал, дорогая Люсиль, и пришел к выводу, что мы выбрали неверный путь. Мои слова поразили ее, и я поспешил объясниться:

— Через несколько месяцев мне исполнится семьдесят шесть лет. Тебе не кажется, что уже слишком поздно менять жизнь? Разве я не буду выглядеть смешным, если снова женюсь?.. Не перебивай, позволь договорить... Тебе неизвестны все мои мании. Я стал закоренелым холостяком. Взять хотя бы историю с этим письменным столом — мне была невыносима даже мысль о том, что он будет стоять на другом месте. Я разозлился на тебя — и буду злиться каждое мгновение, если нам придется находиться вдвоем в замкнутом пространстве, понимаешь? Моя каждодневная жизнь отличается от твоей. Ты любишь солнце, движение, шум. Я — нет. И любовь тут бессильна.

Люсиль сидела, вжавшись в кресло, ее глаза были влажны от слез, и я вдруг почувствовал себя последним негодяем.

— Я не имею права красть твою жизнь в тот самый момент, когда ты наконец обрела свободу. (Старый лицемер!) Взгляни правде в глаза, Люсиль. Я тоже могу стать калекой. Ты уже была сиделкой при Ксавье. Хочешь повторить опыт? Это абсурд.

— Я люблю тебя, — прошептала она.

— Я тоже. Именно поэтому я так прямолинеен. Я эгоистичный старик и не сделаю тебя счастливой. Будем благодарными.

Эта напыщенная и насквозь лживая речь наполнила мою душу смущением и отвращением к себе, но я продолжил убеждать Люсиль, пустив в ход все возможные аргументы. Я хотел поставить точку, но не мог избавиться от ощущения, что добиваю раненого. Люсиль слушала, опустив глаза. Мне стало страшно. Ее молчание было опасней вспышки гнева, и я решил подсластить пилюлю.

— Само собой разумеется, мы останемся друзьями.

Она вскинула голову и пробормотала «друзьями...» с таким презрением в голосе, что у меня похолодела спина.

— Ты все решил?

Она повернула ко мне смертельно-бледное лицо с потемневшими от ненависти глазами. Я протянул руку, чтобы помочь ей встать, но она с отвращением оттолкнула ее и молча вышла.

Теперь мне остается одно — переварить горький осадок, оставшийся в душе после этой сцены. Как я должен был себя вести, чтобы не потерять уважения Люсиль? Все вышло из-под контроля. Я чувствую глубокую печаль из-за того, что мы стали врагами и она думает, будто я отверг ее, пренебрег ею, счел недостойной роли моей жены, а это неправда. Будь моя

воля, я немедленно отправился бы к ней и сказал: «Вернись. Выслушай меня. Давай попробуем объясниться!» Я этого не сделаю, потому что в глубине души, за печалью и усталостью, прячется умиротворяющая уверенность в том, что мне больше никто и никогда не помешает. Я снова впаду в уныние. Натяну его на себя, как стоптанные тапочки и старый халат. По большому счету, жить с пустым сердцем очень удобно.

20.00.

Игра в прятки началась. Сегодня утром я долго решал, пойти обедать в столовую или попросить принести еду в комнаты. С какой стати мне пасовать перед Люсиль? Мы оба спустились вниз. Она вела себя непринужденно и обманчиво любезно. За столом царило молчание. Это было состязание нервов, и я, конечно же, сдался первым — ушел пить кофе в салон. Новая встреча — у подножия лестницы. Она смотрит сквозь меня. Я стал невидимым, я не существую. И я достаточно глуп, чтобы чувствовать себя униженным.

Атмосфера за ужином была мрачная. Положение спас новый сосед по столу, поведавший нам печальную историю своих отношений с дантистом. Я фактически сбежал, не дождавшись десерта. Мне трудно справиться с собой — я мог бы стерпеть злобу и холодность, но не ту практически материальную ненависть, которую она излучает. Возможно ли, чтобы за короткое время... Неужели она была так уверена, что «заарканила» добычу? Меня одолевают мысли, которые еще вчера и в голову бы не пришли. Разве три ловко обставленных несчастных случая не свидетельствуют о невероятной силе характера Люсиль? Кто сказал, что она не проявит ее снова в нужный момент?..

Да, я преувеличиваю, ищу повод злиться на нее, чтобы не дезертировать с поля боя. В успехе я не уверен, «холодная война» мне явно не по силам, так что, скорее всего, я все-таки покину «Гибискус»!

21.00.

Я слегка утратил ощущение времени. Нужно было с самого начала фиксировать не только часы, но и дни. Не помню, когда записал в дневник последние строчки. Впрочем, особого значения это не имеет, поскольку ничего особо важного не произошло. Мы постепенно научились не пересекаться, я обедаю и ужинаю за час до нее, а если все-таки мы встречаемся, держим себя в руках. Раньше наши взгляды то и дело притягивались — теперь с этим покончено; но я с небывалой остротой ощущаю ее присутствие, оглядываюсь, прежде чем выйти, опасаясь углов коридора, холла, парковых аллей — в общем, всех тех мест, где мы рискуем столкнуться и я могу потерять лицо. Во второй половине дня я, невзирая на самочувствие, покидаю «Гибискус», отправляюсь на пляж, выбираю шезлонг в тени и читаю. Я стал похож на пугливого зверя, у которого в лесу есть собственные тропы и убежища. В библиотеке меня заменила мадам Жоффруа. В разговорах с Франсуазой и Клеманс я больше не упоминаю имя Люсиль, благодаря чему мне иногда удается думать о ней без злости.

О ней и об Арлетт! О ней и о любви! О ней и обо всех женщинах, живущих на этом свете! Хотел бы я знать, почему моя любовная жизнь была сплошной чередой неудач. У меня всегда находились объяснения-самооправдания, но вдруг я что-то упустил? Почему, скажите на милость, я так быстро отказался от Люсиль? Что заставило меня составить против нее целое обвинительное заключение, не дав возможности оправдаться? Я должен был рассказать ей о своих подозрениях и помнить о презумпции невиновности. Что, если через нее я приговариваю Арлетт? Не знаю, но боюсь, как бы эта догадка не превратилась в

навязчивую идею. Я любил Люсиль — и хотел заставить ее страдать, разве не так? Эта женщина сразу меня заинтересовала, но я встал на сторону Жонкьера, а потом и Вильбера и Рувра. На сторону мужчины-жертвы? Мужчины, которого предала женщина? И произошло все это под маской любви. Почему бы и нет? Я пережил депрессию и остаюсь желанной добычей для психиатра. Как связано мое намерение свести счеты с жизнью и внезапная влюбленность в Люсиль? Бог весть...

21.00.

Кто-то рылся в моих вещах. Я почти уверен, что посторонний человек побывал у меня в кабинете, обшарил ящики письменного стола, нашел и прочитал дневник. Доказательство? Первые страницы перепутаны, 6-я лежит поверх 4-й, 25-я — на месте 22-й. Я большой адепт порядка и никогда бы не допустил подобного безобразия. В предыдущем жилище я всегда прятал свои записи, перед тем как куда-нибудь уйти. В «Гибискусе» я утратил бдительность: убираю бумаги в ящик стола и оставляю ключ в замке. Впрочем, я всегда запираю входную дверь. Значит, воспользовались универсальным ключом. Достать его нетрудно. Но кому понадобилось читать мой дневник? Кому? Конечно, Люсиль!

Она знает, что я записываю все свои размышления, день за днем, и, возможно, рассчитывала найти объяснение нашему разрыву. Черт, все ясно как божий день! Люсиль воспользовалась одной из моих долгих отлучек, вошла и прочла — все, от начала до конца. Теперь она знает, в чем я ее подозреваю. Есть от чего прийти в уныние. Как она отреагировала? Что намерена делать? Виновата Люсиль или нет, теперь она будет ненавидеть меня до самой смерти. Мне ничего не остается, я чувствую себя совершенно беспомощным и беззащитным. Будь у меня такая возможность, я бы немедленно сбежал, спрятался. Вот только есть одна проблема: Люсиль знает, что я знаю. И вряд ли просто так отпустит меня.

Без паники, Эрбуаз! Люсиль понимает, что я ничего не смогу доказать. Кто придаст значение такой «мелкой» детали, как очки Жонкьера? Кто поверит, что она испортила звонок Вильбера? А потом еще и трость собственного мужа... Надо мной посмеются, как над слабоумным. Нет! Мы будем жить бок о бок и исподтишка наблюдать друг за другом. После разрыва между нами имело место противостояние, теперь я ее разоблачил — значит, начнется дуэль. Мы будем встречаться взглядом и вести немой диалог: «Давай, говори, если посмеешь!» — «Заговорю, когда сам найду нужным!» Мне не победить Люсиль, она все знает о попытке самоубийства и о том, насколько я уязвим. Не исключено, что она рассчитывает на рецидив депрессии, понимая, что мне этого не вынести. Мое будущее беспросветно!

11.00.

Итак, я остался. Позавчера мной владело отчаяние, а сегодня утром Клеманс сообщила о скором отъезде Люсиль, и я воспрянул духом. Люсиль не назвала точную дату, сказала только, что собирается к сестре в Лион. Кошмар скоро закончится. Все это так неожиданно, что я боюсь поверить своему счастью. Впрочем, радость будет недолгой: избавившись от присутствия Люсиль, я снова окажусь наедине с пустотой, время будет тянуться монотонно и до тошноты однообразно.

Но сейчас мне легче дышится — я похож на жертву аварии, извлеченную спасателями из смятой в лепешку машины. Бедная Люсиль! Когда ее не было рядом, я умирал от скуки, а

теперь жажду, чтобы она как можно скорее убралась подальше. Интересно, проблема во мне или это жизнь над нами смеется?

23.00.

Весь день над городом собиралась гроза, но дождь так и не пошел. Дует сильный ветер. Я долго сидел на моей скамье в парке, предаваясь унылым размышлениям. Спать не хочется. Писать тоже. Мне вообще ничего не хочется. Я сам не свой.

Я принял двойную дозу снотворного, запив его анисовым отваром. Я похож на отшлифованную морем кость, которую прибой выбросил на берег. Любовь больше не вернется. Никогда. За свою жизнь я «расчленил» множество обломков погибших кораблей, а теперь вот жду своего «измельчителя». Внезапно я осознаю, что...

Невролог сказал: «Попробуйте писать, это поможет вам восстановиться. Вас спасли, но вы пока не излечились. Излейте душу, ничего не скрывайте. Никто этого не прочтет, я вам обещаю. Лучшего средства не найти».

Я открываю новую тетрадь — исключительно ради того, чтобы доставить удовольствие доктору: меня самого мои «размышлизмы» больше не интересуют. Единственное, что я могу сделать, это подробно рассказать обо всем, что произошло с той минуты, когда я внезапно потерял сознание. Не исключено, что потом мне захочется продолжить, но это маловероятно. Дело в том, что меня вернули к жизни «не целиком», если можно так выразиться. Что-то умерло — пока не знаю, что именно. Все вокруг свято уверены, что я хотел покончить с собой. Ну и бог с ними! Я больше не хочу рассуждать, опровергать, устанавливать истину, тем более что мне сразу стало ясно: начини я упорствовать в отстаивании истины, меня сочтут неизлечимым. Тем не менее истина проста: Люсиль пыталась убить меня, перед тем как покинуть «Гибискус». Я буду молчать. Лошадиные дозы успокоительного убили во мне весь боевой дух. Но мыслю я по-прежнему трезво. Что и докажу, не им — себе!

Один факт бесспорен: в моем отваре был яд. И некакой-нибудь, а тот, что я сам для себя приготовил. Весь стакан убил бы меня через несколько секунд, но я успел принять снотворное, а потому сделал всего несколько глотков, потерял сознание и упал. На следующее утро Франсуаза обнаружила меня лежащим на полу и подняла тревогу. Все думали, что я умер. Пульса практически не было — как у покойника. Говорят, им пришлось здорово потрудиться, чтобы вернуть меня, а как только я открыл глаза и смог говорить, обрушились на меня с вопросами: «Почему вы приняли яд?.. Вы написали, что очень устали. Это правда?.. Вы действительно были настолько несчастны?..» И так без конца. Я ничего не понимал, и тогда врач показал мне первые тридцать страниц моей рукописи.

— Это вы написали?

— Да... но... Где все остальное?

— О чем вы?

Тут-то я и понял, в какую ловушку угодил. Мои записи украли — все, за исключением первых страниц, где я признавался, что устал и намерен свести счеты с жизнью. Все оборачивалось против меня. Яд, обнаруженный в анисовом отваре, оказался тем самым, о котором я упоминал в своей «исповеди» (так ее назвал доктор). Черновик завещания окончательно меня «разоблачил». Я был слишком слаб и болен, чтобы протестовать, и решил промолчать. Мне требовалось время, чтобы разобраться во всех тонкостях игры Люсиль. Я совершенно уверен, что именно она отравила мой отвар, а раз так, значит, Жонкьер, Вильбер и Рувр тоже ее жертвы. Не знаю, как Люсиль узнала, что я веду дневник возможно, я сам ей сказал. Когда мы объяснились, она догадалась, что истинных мотивов разрыва я не назвал, решила поискать правду в моих записях и обнаружила, что я считаю ее виновной в трех преступлениях и при необходимости могу об этом заявить. Люсиль, конечно, понимала, что я не собираюсь доставлять ей неприятности, но угрозу все-таки представляю. Возможно, она не смогла перенести, что ею пренебрегли. Чем бы ни руководствовалась Люсиль — осторожностью, желанием отомстить или тем и другим одновременно, — действовала она привычно дерзко. Вечером, когда я был в парке, подлила

яд в мой отвар и украла рукопись, оставив несколько первых страниц. На все ушло не больше пяти минут. Труп! «Исповедь»! Завещание! Полицейские наверняка не станут копать и заявят о самоубийстве.

Сыграно блестяще. Я не чувствую ни злобы, ни ненависти. Все это кажется мне теперь таким далеким... Я прокручиваю в голове события недавнего времени и понимаю, что вряд ли сумел бы доказать, что Люсиль покушалась на мою жизнь и попытки самоубийства не было. Дневник, где я в мельчайших деталях описал наш неудавшийся роман (несмотря ни на что, мне дороги воспоминания об этой любви!), исчез. Как защитить себя, как доказать, что я не собирался умирать?

Впрочем, защищаться не от кого. Все очень милы и внимательны, каждый старается подбодрить меня, «поднять мой дух», как принято говорить. Для медсестер и невролога я — «тот, кто не соглашается стареть». Мне дают советы, увещевают, подбадривают, произнося банальные истины: «Нужно учиться смирению», «Старость (нет-нет, не старость — „третий возраст“!) может быть самым плодотворным периодом жизни», «Только подумайте, насколько вы счастливей множества людей»... Все боятся, что я повторю попытку. Доктор Креспен долго расспрашивал меня о наших с Арлетт отношениях и пережитой после разрыва депрессии. Он боится повторения — и совершенно напрасно, ведь...

Я ужасно устал. Транквилизаторы, которыми меня накачали, делают свое дело. Продолжу завтра.

Вчера я написал, что врач ошибается. Я чувствую, что совершенно переменялся. Увидел смерть так близко, что ко мне вернулся вкус к жизни. Нет, я не испытываю жадного желания наслаждений, и о каких удовольствиях может мечтать пленник этого дома? Речь о другом, все намного сложнее. Я примирился с собой. Это трудно объяснить словами, но я попробую. Утренний кофе доставляет удовольствие. Солнце, пробивающееся сквозь шторы, радует душу. Первая за день прогулка по саду веселит сердце. Как определить мое нынешнее состояние? Я созвучен сам себе, настроен — как музыкальный инструмент! Именно этого мне так не хватало много лет. Цветы, облака, кот консьержа — все обещает мне прощение. Даже Арлетт. Я не знал. Боже, как я ошибался! Проходил мимо самых простых вещей и людей, как жалкий слепец. Как бы все повернулось, поведи я себя с Люсиль по-другому? Кто знает, возможно, ее злость и желание отомстить были замешаны на любви... Теперь я хочу одного — согласия с собой и окружающим миром. Радужие и доброжелательность — вот чем я должен наполнить душу и плыть по течению, отдавшись на волю времени. Того самого времени, что было моим худшим врагом! Я почти готов повторить слова францисканской молитвы: «Брат мой, время...»

Доктор Креспен был прав, сказав: «Попробуйте писать. Лучшего лекарства у меня для вас нет». Я последую его совету.

Меня посетила мадемуазель де Сен-Мемен. Была холодно-любезна. Начала с поздравлений: «Ваше спасение — настоящее чудо...» — и продолжила упреками: «Как вы могли так с нами поступить?.. Разве вам было неудобно в „Гибискусе“?.. Последствия вашего поступка оказались разрушительными...» и так далее, и тому подобное. Из-за меня случился скандал, я стал персоной нон грата, и санкции не заставят себя ждать.

Мадемуазель де Сен-Мемен сообщает мне тихим голосом — только что не на ушко! — как будто речь идет о чем-то непристойном:

— Мадам де Валлуар собирается нас покинуть. Мадам Рувр уже уехала. Собрали чемоданы, как только стало известно о вашем... поступке. Даже Клеманс не желает тут больше работать. Готова перебежать к нашим конкурентам в «Цветущую долину». Боюсь, ее примеру могут последовать и другие.

— Мне очень жаль.

— Еще бы!

— Я сделаю все, чтобы помочь вам.

— Вы намерены вернуться в «Гибискус»?

Все ясно. Она явилась с единственной целью — намекнуть, что я должен найти себе другое прибежище. Ладно, я понимаю...

— Это необязательно.

Кажется, я утешил нашу директрису — видимо, она опасалась, что придется выдержать тяжелую сцену.

— Я вас не гоню. Если бы все зависело только от меня...

Она разводит руками, давая понять, что бессильна против суеверий.

— Вы упоминали «Цветущую долину», — продолжаю я. — Как думаете, они согласятся меня принять?

— Почему бы и нет?

Мадемуазель де Сен-Мемен не радуется моему решению переселиться к конкурентам, но сейчас самое важное, чтобы моей ноги больше не было в «Гибискусе».

— Хотите, чтобы я все уладила? — Она торопится проявить добрую волю.

Я с радостью соглашаюсь. Пусть сделает все необходимое. Мне будет довольно и одной комнаты. Главное — ничем не заниматься самому, особенно переездом. Я замыслил один проект, и мне не терпится начать, а для этого необходим покой. Для осуществления нового дела нужна свобода рук.

Внезапно я осознаю, что сюжет романа, который я тщетно искал все последнее время, лежит на поверхности. Пропавшие заметки были практически готовым текстом новой книги. История моей жизни в «Гибискусе» стоит того, чтобы рассказать ее, придав повествованию законченную форму. Мне не составит особого труда восстановить дневниковые записи. Я полностью пересмотрю природу моих отношений с Люсиль — печальная история неудавшегося романа вряд ли заинтересует читателей и причинит боль мне. Я изменился. Во мне нет ни ненависти, ни желания мстить. Я могу сочинить историю, в которой не будет ни слова правды, и свести счеты, но вместо этого напишу роман со счастливым концом, покажу, как все могло бы сложиться, будь я менее эгоистичным, а Люсиль...

Боже, как мне нужна отсрочка, чтобы осуществить этот безумный замысел! Двух лет будет довольно, чтобы описать счастье, которого у меня не было... Эти два года я буду предаваться мечтам, а потом замолчу навек.

— Откуда мне было знать, что его откачают? — возмущается Клеманс.

— Что значит «откачают»? — спрашивает Хосе Игнасио, сверкнув глазами. Он высокий, тощий, черноволосый и смуглый, свежесвыбритые щеки отливают синевой. По-французски говорит плохо.

— Откачают — значит оживят.

— Вы не... (Он пытается подобрать слова.) Вы допустили... ошибку.

— При чем тут ошибка? — вскидывается Клеманс. — Вы что, ничего не поняли?.. Повторяю. Сначала я подлила ему яд в отвар. Это первое. Его не было. Он ничего не заподозрил. Потом я каждые пятнадцать минут подходила к двери и прислушивалась. Это во-вторых. Я услышала шум падения, ну и... сами понимаете. В три утра я вошла. Он не шевелился. Я осмотрела его и поняла, что он умирает. Можете не сомневаться, опыта мне хватает! Я забрала из ящичка тетради, оставила на столе только те страницы, где говорилось о самоубийстве, и ушла. Что еще я могла сделать? Не моя вина, что он протянул до утра. Никогда не видела, чтобы человек так цеплялся за жизнь. Врачи не могут опомниться от удивления. А вы имеете наглость обвинять меня в ошибке!

— Что есть... «наглость»? — поинтересовался Хосе.

— Ладно, замнем... И прекратите стряхивать пепел куда попало, возьмите пепельницу. Хосе загасил сигариллу.

— Вы мне обещали, — сказал он.

— Да, обещала. И не отказываюсь от своих слов.

— А сумеете?

— Сумею ли я?! Ну и наглец!.. А кто «оприходовал» папашу Жонкьера?.. Все поверили в несчастный случай — благодаря фокусу с очками. И его братец со мной расплатился! И со стариком Вильбером я разобралась... Скажете, это было легко? Язва, пендиорил... А трюк со звонком? Я испортила звонок, чтобы он не смог вызвать помощь! Даже если бы это обнаружили, меня заподозрили бы последней. Да вы и представить не можете, чего мне все это стоит! Малыш Вильбер, пасынок, все понял. И оценил!.. Думаете, легко выдать все эти смерти за несчастные случаи? Приходится делать перерывы: другие ведь тоже умирают... ну, сами... Взять хоть шейку бедра председателя. Ну да, вы же ничего не знаете... Вот что я скажу: если бы вы меня не торопили, я бы придумала кое-что получше.

— Мне нужны деньги, и быстро, — огрызнулся Хосе. — Я должен вернуться в Аргентину.

— Он должен! Мне-то что? Заплатили жалкий задаток — и хотите, чтобы я прыгнула выше головы! Не понимаете? Ну и ладно! Я хочу вам помочь. Правда хочу. Терпеть не могу здешних стариков! Эти бесполезные существа никогда не думают о молодых, а у тех ведь вся жизнь впереди. Несправедливо! Не думаю, что совершаю преступление, время от времени отправляя одного из них к праотцам. Особенно если он выжил из ума. Между нами говоря, ваш дед... знали бы вы, что насочинял этот человек! Он и впрямь сбрендил. Но я не сестра милосердия, мне и о себе нужно позаботиться.

— Когда вы сможете?..

— Когда, когда... Почем мне знать? Он только что переехал в «Цветущую долину». Не дергайтесь, я должна подумать, обжиться... Еще и недели не прошло, как я начала там

работать. Да не волнуйтесь вы так! Все считают, что ваш дед хотел себя убить, а он их не разубеждает. Никто не удивится, если месяца через два с ним что-нибудь случится. Обещаю, что обеспечу ему «рецидив»...

— Сколько? — перебил ее Хосе, доставая бумажник из кармана куртки.

— Как в прошлый раз, — улыбнулась Клеманс и добавила: — Положитесь на меня, мсье Эрбуаз!

Больше книг на сайте - Knigolub.net

notes

Алая карта (*фр.* — *carte vermeil*) — абонемент для проезда в ж/д транспорте лиц, достигших 60-летнего возраста.

Французский литературный журнал, который некогда пользовался огромным влиянием, особенно в период между мировыми войнами.

Анри де Монтерлан (1895–1972) — французский писатель. Ослепнув в результате несчастного случая, покончил с собой — принял цианистый калий, а затем застрелился.

Один из видов выпечки — булочки, лепешки, которые подают в Англии к традиционному чаю. При поедании принято разрезать scones вдоль на две части и кушать, смазывая медом, вареньем или просто маслом.

«Четвертый возраст» — стадия процесса старения, характеризующаяся потерей функциональной независимости и повышенной потребностью в медико-социальной помощи.

«Третий возраст» — период активной жизни, который начинается с выходом на пенсию.

Старинный городок Сент-Эмильон расположен на правом берегу реки Дордонь, департамента Жиронда, в 40 км от Бордо. Основные сорта вина, производимого Сент-Эмильоне — «Мерло» и «Каберне Франс».

Имеется в виду комедия К. Гольдони «Слуга двух господ».

Лазарь — канонизированный святой, брат Марфы и Марии, воскрешенный Иисусом Христом. Легенда гласит, что он стал первым епископом Марсея.

Пастис — французская анисовая водка, употребляется в качестве аперитива.

Особая военная школа Сен-Сир — высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой кадров для французского офицерства и жандармерии.

«Негреско» — знаменитый отель класса люкс в стиле неоклассицизма на Английской набережной в Ницце, символ Лазурного Берега. Среди именитых постояльцев «Негреско» числятся Коко Шанель, Эрнест Хемингуэй, Марлен Дитрих.

Йонна — река во Франции, левый приток Сены.

«Р. Шатобриан. „Ренэ“. Б. Констан. „Адольф“. История молодого человека XIX века». Серия романов под ред. М. Горького, пер. Н. Чуйко. М.: Журнально-газетное объединение, 1932.

Сен-Рафаэль — коммуна и курорт во Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, в департаменте Вар, в 49 км юго-западнее Ниццы и в 115 км восточнее Марселя.

Справочник о деятелях науки, искусства и т. п.

Клод Авлин (*наст.* Эжен Авцин, 1901–1992), французский писатель, поэт, издатель, участник движения Сопротивления. Широкую известность и популярность ему принесли детективные романы, объединенные единым персонажем — инспектором Фредериком Бело.

Робер Арон (1898–1975) — французский писатель, автор политических эссе и исторических трудов, член французской Академии наук.

Джулиан Хартридж Грин (1900–1998) — французский писатель американского происхождения, автор новелл, драм и романов.

Викторьен Сарду (1831–1908) — французский буржуазный драматург периода Второй империи.

Леонард Бернстайн (1918–1990) — американский композитор, дирижер и пианист, автор знаменитой «Вестсайдской истории» (1957).